

Нина Архипова

ЖИЗНЬ



В ПРЕДЛАГАЕМЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Нина Архипова



РОССИЙСКИЙ
ФОНД
КУЛЬТУРЫ

Автор благодарит
Некоммерческую организацию
«Российский Фонд Культуры»
за помощь в издании книги

Театрал

Информационная поддержка
журнала «Театрал»

ЖИЗНЬ



В ПРЕДЛАГАЕМЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Москва
«Театралис»
2014

УДК 792.2(470)(093.3)
ББК 85.334.3(2)Ю14
А87
ISBN 978-5-902492-31-3

Литературная запись
текстов:

Виктор Борзенко

*Проект осуществлен при поддержке
Некоммерческой организации
«Российский Фонд Культуры»*

Архипова Н. Н. Жизнь в предлагаемых обстоятельствах.
Театральные мемуары. – М. : Театралис, 2014. – 272 с. : ил.

Когда расспрашиваешь Нину Архипову о былых временах, то первая реакция неожиданная: «Я толком ничего и не запоминала: дневников не вела, жила как жила. Характер у меня такой...» И здесь важно не зазеваться и сразу включить диктофон, поскольку интереснейшие воспоминания начнутся в ту же секунду. Она помнит нэп и жизнь довоенной Москвы, старый Арбат и то, как в 1941 году в Театр Вахтангова попала бомба. Нина Николаевна была ведущей актрисой этого коллектива, пережила с ним эвакуацию, а позже перешла в Театр сатиры, где прослужила более полувека. Судьба свела ее с Шостаковичем и Пастернаком, она дружила со многими знаменитостями XX века, однако среди них первым человеком для нее остается актер Георгий Менглет – супруг, светлой памяти которого посвящена эта книга.

УДК 792.2(470)(093.3)
ББК 85.334.3(2)Ю14
ISBN 978-5-902492-31-3

© Архипова Н. Н., тексты, 2014
© Осенева А. Б., дизайн, 2014
© Издательство «Театралис», 2014

«У веселого человека раны заживают быстрее...»

Несколько лет назад мы встретились с Ниной Архиповой, чтобы обсудить тему «театр времен войны» (в журнале «Театрал» готовилась рубрика ко Дню Победы). Однако с первых минут разговор отклонился от намеченного русла:

– Обо мне говорить неинтересно, а вот Жорик в те годы руководил фронтовым театром. Неоднократно его выступления прерывала бомбежка, он слышал свист пуль, он видел человеческое горе и на всю жизнь запомнил запах крови. На войне как на войне. Но что бы ни произошло, он все равно выходил на импровизированную сцену и выступал... В окопах, на привале, в госпиталях. Как мог веселил солдат. Даже тяжело раненых. Жорик говорил, что когда человеку весело, его раны заживают быстрее...

Жориком Нина Николаевна любовно называет своего мужа Георгия Павловича Менглета и, кажется, готова говорить о нем бесконечно.

– Вы ушли, а я вспомнила, что не рассказала о том, как начался наш роман, – эти слова прозвучали уже несколько дней спустя, когда пришло время визировать интервью. – Но, наверное, места в журнале на это уже не хватит...



В журнале не хватит, но почему не написать книгу? Однако эта мысль Нине Николаевне понравилась не сразу:

— А что я смогу рассказать? Понимаете, жила как жила: не вела дневников, не записывала воспоминаний, у меня даже списка ролей нет... Такой ветреный характер: я не анализировала свою жизнь. А ведь есть, что рассказать. У меня было много друзей, дверь в наш дом всегда была нараспашку...

Через день позвонила снова:

— Ваша идея не оставляет меня в покое: а ведь действительно с помощью книги я смогу выразить не только любовь к Жорику, но и свою благодарность Театру сатиры, в котором провела лучшие годы своей жизни, и, конечно, директору Мамеду Агаеву, который стал для Жорика настоящим другом, а обо мне не забывает по нынешний день.

И вскоре работа началась... Мы уже записали много глав, как вдруг бдительная Нина Николаевна все остановила:

— Хватит обо мне. Мы ни слова не говорим о Жорике!

И хотя Менглету посвящались многие часы наших встреч, — чувство недосказанности не покидало актрису. Желание говорить о любимом человеке у Нины Архиповой так велико, что воспоминания о нем могут тянуться бесконечно.

В своей квартире после смерти мужа она запретила делать какие-либо перестановки, снимать и перевешивать афиши. И кажется, что сейчас — спустя столько лет! — откроется дверь и в комнату войдет Георгий Павлович: настолько бережно здесь сохраняется атмосфера той жизни, в которой «все были молоды и счастливы».

Но все равно не перестаешь удивляться, когда Нина Николаевна вдруг показывает на старинный дубовый стол и говорит, что за ним после спектакля любили почаевничать артисты Театра сатиры. Или, говоря про Веру Марецкую, вдруг вспоминает, как в тяжелую минуту своей жизни она «сидела вот на этом диване и говорила о Западском».



От легендарных имен голова идет кругом. Причем всякий раз в разговоре они всплывают сами собой, поскольку судьба Нины Архиповой оказалась на редкость щедрой на встречи с выдающимися людьми. Чего стоит, например, эпизод, когда по радио объявили об отказе Пастернака от Нобелевской премии. Казалось бы, уж это событие точно не могло коснуться Нины Николаевны. Она не была в числе преследуемых властью, никогда не делала громких политических заявлений, не участвовала в демаршах против чиновников и начальства. Но Пастернак был соседом Архиповой по даче в Переделкино (именно там известие застало актрису). Услышав сообщение, Нина Николаевна забеспокоилась, оно произвело на нее крайне неблагоприятное впечатление. Выйдя на улицу, она тут же встретила Бориса Леонидовича. Нина Николаевна видела Пастернака в минуты его отчаяния. И пыталась утешить.

Какой темы ни коснись — возникают эпизоды из ее жизни, в которых личная биография переплетается с событиями истории XX века, ибо со многими людьми невероятной судьбы, творившими эту историю, она была знакома.

«Попробуйте меня от века оторвать,

— Ручаюсь вам — себе свернете шею!»¹

Она видела Мейерхольда и дружила с Мансуровой, пряталась с Шостаковичем и снималась у Барнета, начинала свой творческий путь в легендарных спектаклях Театра Вахтангова и довольно скоро стала ведущей артисткой, про которую говорили: «Архиповой, как корью, нужно переболеть»...

Нину Николаевну, кажется, удивить ничем невозможно — она давно привыкла к бесконечным парадоксам своей жизни и стала принимать их спокойно.

¹ О. Мандельштам. «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето».



И все же, вспоминая былые времена, она не перестает удивляться тайне, которую представлял собой «характер дорогого Жорика». И каждый раз при встрече со мной задает один и тот же вопрос:

– Ведь что-то же заставило его, такого доброго и благополучного, уйти из своей семьи ради меня?.

Ответа Нина Архипова не знает, но, быть может, читатель сумеет найти его на страницах этой книги.

Изначально предполагалось, что работа будет посвящена исключительно истории любви – с момента, когда в судьбе Нины Николаевны появился Менглет (на этом настаивала сама актриса), однако обойти стороной всю предшествующую жизнь или рассказать о ней вскользь было бы несправедливо. Поэтому воспоминания делаются на две части – до встречи с Георгием Павловичем и после.

У Нины Архиповой редкое качество – она очень ответственный человек. Возможно поэтому работа над изданием растянулась на два года: каждую главу Нина Николаевна переписывала по нескольку раз. А может, причина вовсе не в ответственности, и начинала Нина Николаевна каждый раз все заново – для того, чтобы разговор о Менглете продолжался как можно дольше. Как знать. Любовь – явление загадочное, логикой его не объяснить.

*Виктор Борзенко,
шеф-редактор журнала «Театрал»*

*Посвящается
светлой памяти моего дорогого Жорика –
актера Георгия Павловича Менглета*

*Сердечно благодарим Музей Театра сатиры и лично Марину Калинин
за помощь в поиске архивных фотографий*



ЧАСТЬ I



Навстречу судьбе



Нина и Мария Николаевна
Архиповы. 1930 год



ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА

«Моей няней был денщик»

Мое детство проходило под выстрелами. Папа – герой Гражданской войны, при первом удобном случае хватался за револьвер. Однажды он привел маму в кино, но поскольку она была маленького роста, носила кепочку, то ее приняли за ребенка:

– Нет, нет, детей не пускаем, – сказал администратор. – Покажите паспорт.

Но отец вместо паспорта показал револьвер.

У него револьвер всегда был под рукой. И когда они собирались с друзьями, выпивали и тосковали по Гражданской войне («мы что-то значили»), то время от времени бабахали в потолок. И я тут же под ногами крутилась. Самое удивительное, что мама в этот момент не боялась ни за себя, ни за ребенка...

Познакомились родители весьма неожиданно. Папа, обойдя с войсками Котовского полстраны, заскочил по делу в революционный Петроград. И в одной из канцелярий заметил девушку, у ног которой сидела козочка.

Разговорились:

– Вы ходите на работу с козочкой?



Николай Матвеевич
Архипов

— Да, я попросилась к ним в канцелярию при условии, что они разрешат мне приводить козочку с собой. Оставить ее не с кем, а тут она меня ждет. И они согласились взять, только я должна убирать за ней...

Деталей той встречи я не знаю, но девушка влюбилась в моего будущего отца и, пристроив кому-то козочку, оставила Петроград — примкнула к папиной конной дивизии, чтобы отправиться с ним на фронты Гражданской войны. Они проехали через полстраны, но в марте 1921 года отца арестовали в Омске за контрреволюционную деятельность и приговорили к расстрелу. К тому моменту мама была на восьмом месяце беременности. И как пережила те страшные дни — невозможно представить. Наверное, ходатайствовала об освобождении, обивала пороги, лишь бы папу выпустили. Подробности мне неизвестны, но три недели спустя следова-

тель дело пересмотрел, и отец оказался на свободе, поскольку состава преступления на сей раз не обнаружили. Из документа, сохранившегося в Омском архиве, я знаю, что произошло это 14 апреля.

Родилась я тоже в Омске (1 мая 1921 года), после чего дивизия двинулась дальше. А чтобы маме было комфортно, ей разрешили разместиться в обозе (прежде она скакала в седле). В обозе с нами ехал и папин денщик, который фактически стал для меня нянькой, ведь большую часть времени я проводила у него на руках.

Летом того же года дивизия добралась до Поволжья, где началась страшная засуха, но ее жуткие последствия обошли нас стороной. Во всяком случае, еще не было масштабного голода, и в городском саду Саратова (в этом городе меня крестили) играл оркестр. Мама тут же заявила, что хочет танцевать.



Мария Николаевна
Архипова

— Маша, — изумился мой отец, — только танцев нам еще и не хватало, ведь грудная девочка у тебя на руках!

Но мама уже держала его за руку и под браурные звуки оркестра тащила на середину летней площадки.

Сверток со мной она оставила на руках у денщика и говорила, что без последнего танго отсюда не уйдет. В тот же миг я заплакала: денщик жестами стал подзывать маму, показывая на младенца, но она не придала жестам никакого значения и продолжала кружиться в такт музыке. В этой безвыходной ситуации денщик намочил какую-то тряпочку и сунул мне пожевать — обманул, в надежде, что младенец примет это за материнскую грудь. Но трюк не прошел, и ничего не оставалось, как во время танца выйти на середину площадки и передать меня маме:

— Нину покормить надо.

На радость отцу, последнее танго не состоялось, и его любимая Мурочка (так он называл маму) раньше времени покинула танцпол.

Конечно, она истосковалась по большим городам. Ей хотелось вернуться в городскую жизнь, где все так привычно и уютно, но надо было скакать дальше и ничего не оставалось, как мириться с суровой действительностью...

Ребенком я росла хилым, часто болела, поэтому в какой-то деревне местные старухи посоветовали маме сделать травяной отвар и купать меня в нем. О врачах не могло быть и речи. Причем так продолжалось года полтора-два — до тех пор, пока мы не приехали в Москву, где папе дали комнату в коммуналке на Коммунистической улице.



«Папа сбежал из дома»

Воспоминания о той комнате у меня остались самые светлые. Было очень просторно. Отец рано утром уходил на службу, а мама занималась мной. Когда я болела, она варила куриный суп, и потрясающий аромат распространялся по квартире – мне хотелось съесть целую кастрюлю. А в мороз обмазывала меня гусиным жиром, чтобы я не мерзла на прогулке.

Неплохо запомнилась и атмосфера тех лет. На дворе был нэп, расцветала частная торговля, поэтому к нашему дому приезжали фургоны, и продавцы кричали на весь двор:

– Фран-цуз-ские булочки! Фран-цуз-ские булочки!

Я дергала маму за рукав, она давала деньги – и я бежала за этим лакомством.

Это было сложное время. Наверное, поэтому мне запомнился колорит московских улиц, их ароматы и звуки. На перекрестках сидели мальчишки и старухи, торговавшие яблоками или дынями. Яблоки закупались для прогулок: молодые люди угощали ими своих подруг. Еще одним лакомством были жареные семечки. В Москве их грызли повсеместно – на улице, в кино, в школе, в трамвае, в гостиных и дома. Ни урн, ни запретных надписей я не помню. На улицах продавали мороженое: подешевле – маленькими шариками, подороже – лепешкой, зажатой между двумя вафельками.

А еще было много татар в тубетейках, которые ходили по дворам и кричали:

– Старье берем!

Видела я и старичков со слесарным инструментом:

– Паяем примусы, починяем бритвы...

С бидонами ходили молочницы:

– Молоко, свежее молоко...



«К 1926 году отношения между родителями стали напряженными, но я в ту пору еще об этом не знала»



У многих была своя клиентура – они ходили от подъезда к подъезду, к ним спускались хозяйки. Я различала тех молочниц, которые приехали из деревни: они не продавали молоко, а меняли его на хлеб, поскольку у деревенских была своя беда – у них всю муку забрали для нужд города.

По многим улицам и переулкам еще пролежала булыжная мостовая, сложенная из округлых, не очень ровных камней (разве что на Красной и Театральной площадях, а также в Театральном проезде была брусчатка). Правда, не только каменные мостовые я помню: у многих вызывал удивление асфальт, которым покрывалась одна улица за другой. В центре города стояли котлы, в которых варили гудрон. Возможно, я не придала бы



«У „Метрополя“ меняют булыжник на асфальт. Тогда и представить было нельзя, что наступят времена, когда булыжных мостовых в городе совсем не останется». 1920-е годы

этому значения, но эти котлы по вечерам мы старались обходить стороной, поскольку в них жили беспризорники.

И еще на всю жизнь осталась у меня в памяти картина, как родители перетаскивали от соседей фортепиано, ставили его в нашей комнате – мама открывала крышку и... начинала играть. Я готова была часами слушать, а она улыбалась и говорила, что это композитор Шопен. И я всем рассказывала во дворе, что самый лучший композитор на свете Шопен (других просто не знала).

Мама происходила, я думаю, из очень хорошей питерской семьи, поскольку со вкусом устраивала детские праздники, писала сценарии, шила костюмы, сочиняла стихи. Уйма ребят у нас собиралась. И однажды на новогоднюю елку стала проситься девочка значительно старше меня:

– Марь Николавна, я тоже к вам на елку хочу...

Мама улыбнулась и немного растерялась:

– Ой, а куда же я тебя посажу, ты ведь вон какая высокая.



«До постройки метро основным транспортом был трамвай, а одним из городских развлечений – поездки из одного конца города в другой»

А потом оглядела ее с ног до головы:

– Знаешь что, заходи – я придумала для тебя роль.

И чтобы оправдать сценарий, мама обмазала девушку коричневой краской – она играла негритянку. Мы водили вокруг нее хороводы. Но душой этого праздника оставалась, конечно же, мама – веселила нас, играла на фортепиано, а в конце вечера сказала ребятам:

– Теперь каждый может подойти к елке и выбрать себе подарок.

Я с горечью смотрела, как они разбирают нашу елочку, уносят сладости, игрушки и мечтала, чтобы мой любимый маленький дед мороз остался. Мне в этом процессе участвовать запрещалось – я хозяйка и должна наблюдать в стороне.

Папа по-прежнему тосковал без своей кавалерии, сетовал на судьбу и никак не мог смириться с канцелярской работой, которой вынужден был заниматься. Но его утешением являлся спорт: он ведь еще в 16 лет стал чемпионом Сибири по велогонкам.



В 16 лет Николай Архипов стал чемпионом Сибири по велоспорту, чем страшно огорчил своего отца. В их отношениях наступил разлад, растянувшийся на несколько лет



А дело так было: мой отец Николай Матвеевич Архипов родился в 1895 году в семье ремесленника, был старшим среди трех братьев, и потому на него возлагались особые надежды: дедушка хотел, чтобы Николай помогал ему по хозяйству и зарабатывал деньги на всю семью, но мальчик этому воспротивился – стал часто отлучаться из дома.

Однажды дедушке кто-то принес записку, где сообщалось о том, что 16-летний Николай Архипов стал чемпионом Сибири по велоспорту. И когда мой отец вернулся домой, его ожидал «сюрприз».

– Кто этот чемпион?

– Я...

– А велосипед у тебя откуда?

– Купил...

– Ах, купил. А на какие деньги! – закричал дед, размахивая ремнем.

Был скандал – папа сбежал из дома, и в последующие десять лет о нем никто ничего не знал – до тех пор, пока я не появилась на свет. Оказалось, что все эти годы он не терял времени зря – получил начальное воинское образование и отправился на фронт Империалистической войны, стал первоклассным кавалеристом. В 1917 году он попал в армию Котовского и там возглавил один из отрядов.

И, конечно, при нэпе, когда наступило относительно мирное время, папа никак не мог приспособиться к новой жизни, из-за чего сильно переживал, и наконец решил, что только спорт может заменить ему военное дело и отвлечет от грустных мыслей. По выходным он надевал на мои ботиночки мамины коньки и учил правильно на них бегать.

А вот маме тосковать не пришлось. Начался нэп, оживилась торговля: появились духи, шляпки, шиншиллы... Одевалась она изысканно и воспитывала меня под стать себе – например, била по губам:

– Почему ты губы распустила!

В ту пору ценились маленькие губки.

Еще она хлопала меня по животу:

– Как ты стоишь!



И я втягивала живот, лишь бы ее не расстраивать.

А вскоре мы с папой остались вдвоем, поскольку мама с каким-то человеком уехала в другой город. Это сегодня кажется: ах, какой кошмар, мама рассталась с ребенком. Но в нашей семье произошло это как-то само собой. Вот мама, которая меня любит, на время покидает наш дом. Вот я остаюсь с папой, который тоже меня любит, но слишком занят на работе и не может целый день быть со мной. И потому, когда он взял меня за руку и повел в детский дом, я ничуть не испугалась. Знала, что ему тяжело, но он скоро меня заберет...

«Куда же ты Нину дел?»

В детском доме кормили неважно. Особенно перед сном жутко хотелось есть. Поэтому мы пробирались к большому котлу с кипятком и глотали воду. Она хоть ненадолго притупляла чувство голода, и в этот промежуток я засыпала. Спальных мест не хватало: нас укладывали по два человека на одной кровати. И, конечно, я тосковала по дому. Поэтому однажды, подговорив сверстников, решила сбежать.

Мы подошли к деревянному забору, стали карабкаться на него, как вдруг раздался треск: я очнулась уже на земле с жуткой болью в позвоночнике. Побег не состоялся, но меня пожурили и прописали постельный режим, поскольку травма заживала долго.

Постепенно к детскому дому я стала привыкать, но вдруг однажды через большое окно увидела маму. Вот вдалеке мелькнул ее силуэт. Пригляделась – точно мама! Вот она направляется к нашему дому, ближе, ближе, еще два шага и войдет в калитку... Но калитка осталась позади, а мама свернула за угол и скрылась из виду.

Я подняла такой шум, что страшно передать – кричала:



– Мама, мама!

Была по стеклу руками. Это потом уже выяснилось, что перед калиткой была огромная лужа, и мама решила ее обойти. Наконец, она появилась на пороге детского дома, и я, зареванная, бросилась к ней в объятия. В тот день она говорила, что забрать меня пока что не может, но очень скучает и заберет при первой возможности.

Не забывал обо мне и папа.

Недалеко от нас (на Воронцовской улице, 4) жила Надежда Александровна Херсонская. Когда-то она была супругой фабриканта Ивана Беляева из подмосковного города Александрова. И много лет спустя, когда мы с концертами приезжали в тот город, я спрашивала:

– Вы не помните, у вас Беляев был хозяином ткацкой фабрики?

– Как же не помним? Мы так и называем эту фабрику – Беляев.

И вот Надежда Александровна была его женой – воспитанная, образованная, из музыкальной семьи. Но детей не было. А жить без детей Беляев не хотел – они развелись и разъехались. Так Надежда Александровна оказалась в Москве, где вышла замуж за папиного приятеля Сергея Херсонского, который командовал полком в Первую мировую войну, и папа был у него в подчинении. А в Гражданскую войну они снова встретились, но теперь уже папа был начальником, а тот второстепенную роль играл. Так и подружились.

И вот однажды папа зашел к ним и рассказал, что, дескать, Мурочка уехала с другим человеком, а ребенка оставила...

– Куда же ты Нину дел? – спросила Надежда Александровна.

– Ничего не оставалось, как устроить в детский дом.

Надежда Александровна вскипела:

– Разве можно было! Коль, ну как нехорошо! Ребенок там один среди чужих детей... Тебя рядом нет, Маши нет.

Папа стал возражать: дескать, не было у него другого выхода.

И тогда Надежда Александровна не выдержала:

– Нет, другой выход есть – пусть Нина живет у нас, а ты будешь приходить к ней после работы.



И действительно, довольно скоро после той встречи папа приехал за мной и перевез к тете Наде (так я ее называла). Мне запомнилось неимоверное количество подушек в ее доме, которые возвышались на широкой тахте. И когда любую из этих подушек я брала в руки, то могла нащупать, что набиты они не перьями, а каким-то материалом. Позже я поняла, что тетя Надя хранит в них шелка и ценные нитки, которые достались ей от Ивана Беляева.

Полтора года я жила на два дома. Мама появлялась редко. Я выросла и понимала уже, что у них с отцом сложились весьма напряженные отношения, но надо отдать должное моим родителям: при мне они никогда не ссорились – делали вид, будто все хорошо. А в один прекрасный день мама пришла и заявила, что никуда больше от нас не уйдет – семья обрела, наконец, свою полноценность, и для меня это стало золотым временем. Не страшно, что жили мы в коммунальной квартире, на кухне из ржавого крана текла вода, а в уборную выстраивалась очередь. Зато мы были вместе. И я впервые за долгое время почувствовала, как это хорошо. Из школы (я училась в третьем классе) бежала домой. Мы вдвоем ужинали или просто общались. Но однажды я отворила дверь и насторожилась: мне показалось, что в квартире слишком тихо. Это было подозрительно.

– Пап, а где мама?

– На катке.

– На каком еще катке?

– Да ты понимаешь, вдруг появился молодой человек и пригласил маму покататься с ним на коньках.

Он с трудом скрывал свою досаду.

– А ты что?

– А я остался...

История стала повторяться все чаще и чаще. Однажды мама пришла и сказала, что мы переезжаем на новое место.

– А папа? – спросила я.

– Он остается...

РЕВОЛЬВЕР ПОД ПОДУШКОЙ



Трагедия

Что произошло между родителями, я не представляла. Не знаю и до сих пор. Но вещи были собраны, и мама, взяв меня за руку, вывела из дома и повезла на Арбатскую площадь – в просторную квартиру (дом располагался напротив кинотеатра «Художественный», но не сохранился, поскольку в годы войны в него попала бомба). Оказалось, что теперь у нее новый муж – Иван Михайлович Кудрявцев, который занимает какой-то высокий пост. Меня удивило, например, что мама называла его французским именем Жан. Несколько раз он пытался подружиться со мной, но я на контакт не шла. Не хотела ничего о нем знать.

Я ухитрялась ложиться спать пораньше. Никогда не поднимала на него глаза. Не знаю, какие у него волосы, какая одежда, молодой он или старый. Я его не видела и тосковала по папе, ведь даже школу пришлось поменять (с третьего по пятый класс училась в Большом Кисловском переулке).

Однажды нашла у мамы 5 копеек и пошла к кинотеатру позвонить. Но как это сделать? Куда опускать монетку? Ничего я не знала, а попросить о помощи постеснялась. Но именно в тот момент почувствовала, что живу, словно меня оторвали от родного дома. Да и в новую мамину квартиру возвращаться особенно не хотелось: у них



с Жаном все чаще происходили ссоры, все больше и больше перерастающие в конфликт. Он просил, чтобы мама не выделялась: никаких тебе мехов и шляпок. Только беленькая кофточка, платочек, скромная юбочка. Наверное, были и более веские причины для разногласий, но запомнились эти. Дошло до того, что однажды мама пришла в мою комнату с его револьвером и спрятала у меня под подушкой:

– Ты смотри, не говори ему.

И я молчала.

В маминной комнате жил голубь со сломанной ножкой. И пока Жан Кудрявцев был на работе, я приглашала к себе школьных подруг, мы ухаживали за голубем или разыгрывали на широком подоконнике представление, а потом, конечно, разбежались.

Но однажды случилось то, что в корне изменило мою жизнь. Был тихий вечер, в своей комнате я делала уроки и вдруг за стеной (как раз там, где голубь) раздался удар. Я прекрасно поняла, что это за «удар». Но удивительная штука детская психика. Для себя решила, будто это мой голубь уронил блюдечко с водой. Оно на подоконнике стояло и вот, по всей вероятности, он его смахнул. Надо пойти налить ему водички. И пока я себя уговаривала, в коридоре послышались шаги и голоса: я открыла дверь – там стояли несколько человек, которые быстро схватили меня в охапку и через подъезд повели в свою квартиру:

– Тише, девочка, тише, – говорили они. – Маме плохо, мы вызвали скорую, сейчас не надо мешать...

Я не рыдала. Но оттого что с детства знала звук выстрела, понимала, что мама покончила с собой. Для меня это было ясно. И я терпеливо ждала финала.

Но финал был печальный.

Мы с этим Жаном остались в квартире вдвоем. Он в своей комнате, а я в маминной. И вдруг слышу стук в дверь и... папин голос. О происшествии он узнал от соседей (я дала им номер телефона) и, разъяренный, примчался сюда – требовал отворить ему дверь.



Кудрявцев перепугался. Стал зловеще шептать мне:

– Не открывай, не открывай, не открывай, будет стрельба.

Но я не послушалась и открыла.

Папа влетел (он был подвыпивший). Вот-вот могла начаться драка, но Кудрявцев из всех сил старался его успокоить:

– Давайте сядем, поговорим, я вам все расскажу. Вы же не в курсе. Я не виноват. Она сама... Вы же знаете ее характер. Вы знаете, сгоряча она может... Она уже не один раз стреляла в себя. И при вас, наверное, тоже стреляла. Она с этим оружием обращалась... Это все характер, характер.

Папа сказал:

– Я сяду с вами, только если вы отдадите мне ее портрет.

Но Кудрявцев воспротивился:

– Нет, портрет не отдам.

– Тогда никаких объяснений.

Долго они еще спорили. Кудрявцев уступил: мол, отдаст портрет Нине. И папа уехал, потому что забрать меня не мог. Правда, сказал мне, чтобы я собирала вещи и что за мной приедет Надежда Александровна. Опять моя дорогая тетя Надя!

Так оно и сложилось. Через день она появилась и, забирая меня, поинтересовалась у Кудрявцева:

– А когда похороны?

На что получила ответ:

– Я ее уже похоронил.

В тот же день Надежда Александровна позвонила моему папе:

– Коля, ты представляешь, он ее уже похоронил.

– А Нина на похоронах была?

– Нет, он никого не звал.

Тогда папа помчался на кладбище – к начальнику крематория.

– Как же вы могли похоронить, ведь родственники еще не попрощались?

Директор стал оправдываться:



Папа, бабушка и Нина.
1931 год

– Мне товарищ Кудрявцев сказал, что у нее никого нет. И что он один-единственный близкий и любящий человек. Он заказал музыку, сидел плакал, прощался с ней.

Папа недоумевал:

– У нее есть родственники, есть приятели, друзья, а главное – дочь!

И вдруг директор говорит:

– Вы знаете, мне тоже эта история показалась подозрительной. Поэтому гроб я опустил, но команду сжигать не давал. А когда человек ушел, мы гроб снова передали в морг.



Папа рассказал ему о том, почему так все произошло. И на следующий день были уже официальные похороны. Мы провожали маму в последний путь.

«Барыня приехала!»

После маминой смерти я вернулась к Надежде Александровне на Таганку, но в школу продолжала ездить трамваем через всю Москву. Надежда Александровна всегда давала мне с собой завтрак, а однажды в пасхальные дни завернула крашеные яйца. На это тут же обратили внимание мои одноклассники:

– Нина, ты отмечаешь Пасху?!

Я оправдывалась:

– Да нет, это не я, а тетя Надя дала мне завтрак.

Но они посмеялись надо мной:

– Нинка отмечает Пасху!

И разбили мой завтрак. Дома я ей сказала:

– Ты с ума сошла, зачем дала мне крашеные яйца!

Но она искренне удивилась и даже немного опешила:

– Так ведь Пасха же!

Видимо, не ожидала, что все эти классовые пертурбации затронут и молодежь. Она вообще с трудом привыкала к новому времени. Например, посылая меня в булочную, говорила:

– Там, за моим кинотеатром, повернешь налево.

Однажды я у нее спросила:

– А почему ты все время говоришь «мой кинотеатр»?

Речь шла о кинотеатре, который в советское время назывался «Таганский». И она рассказала, что Беляев при разводе кроме ниток и шелков дал ей большое приданое (иначе законный развод до



При нэпе жизнь Москвы оживилась: процветали торговля и частный извоз. Лубянка. 1926 год

революции не состоялся бы). Кинотеатр она купила с целью вложить деньги. А еще ей досталась одна из подмосковных деревень. Большевики, понятно, все это хозяйство отняли, кинотеатр национализировали, так что вложенные деньги пропали, но растоптать память они не могли. И вот когда однажды Надежда Александровна повезла меня в «свою» деревню, нам навстречу высыпали местные жители:

– Барыня приехала!

Надежда Александровна их успокаивала:

– Да полно вам! Никакая я вам уже не барыня.

Но они все равно несли нам гостинцы. И ничего удивительного в этой истории нет: как бы ни старались большевики изменить уклад жизни, сделать это в одночасье было невозможно, и признаки старой жизни проступали порой сквозь советские нововведения. Например,



«В пору моего детства ярмарки в Замоскворечье устраивались каждое воскресенье»

у нас на Таганке и в Замоскворечье работали церкви. Каждое воскресенье Надежда Александровна водила меня туда, совершенно ни от кого не таясь. Она же приучила меня к тому, что воскресенье особый день, посвящать который надо Богу и душе. Не грех себя и чем-нибудь побаловать. А поскольку работали ярмарки, то я привыкла к тому, что на обратном пути мне что-нибудь покупают. И когда однажды не купили – я закатила истерику, которую Надежда Александровна прекратила одной лишь фразой:

– Нина, ты реवेशь сейчас громче, чем на маминых похоронах.

Стыда я не почувствовала (я вообще в юности его не знала), но кричать стала тише.

...В шестом классе я вновь сменила школу, поскольку папе дали две комнаты в Руновском переулке, и мы с ним переселились туда. Так что с тех пор жизнь моя проходила в Замоскворечье.



И еще одна черта тех лет – трамвайные названия «кольцо А» и «кольцо Б». По Бульварному внутреннему кольцу можно было прокатиться на трамвае маршрута «А», который москвичи ласково называли Аннушкой. По Садовому внешнему кольцу ходил трамвай «Б», который называли Букашкой. Рассказывали, что в прежние времена на них можно было ездить без толчеи. В начале же тридцатых годов влезть в трамвай было непросто, а уж проехаться в нем с развлекательной целью мне, кажется, так и не удалось. И, кстати, плотно набитые трамваи были особой радостью карманников.

Не так давно, когда шла работа над этой книгой, внук Ваня стал рассказывать мне про трамплины: надо, дескать, на лыжах разогнаться и перед прыжком присесть. Он был уверен, что его древняя бабушка настолько отстала от жизни, что о трамплинах понятия не имеет. Поэтому мой ответ его удивил:

– Зачем ты мне об этом рассказываешь, ведь я на этом росла.

Дело в том, что наша замоскворецкая школа располагалась по ту сторону Водоотводного канала (ближе к Кремлю). Никаких ограждений на набережной еще не построили и зимой я, хорошенько разогнавшись, съезжала с горочки как на трамплине – попробуй меня останови. А еще было у меня такое увлечение: я надевала коньки и, уцепившись за какую-нибудь телегу, ехала за ней по всему переулку.

Вообще Замоскворечье – это особый мир, не сравнимый ни с Таганкой, ни с Арбатской площадью. Наш Руновский переулок упирался в Большую Татарскую улицу, названную так потому, что до революции в этой части Москвы обитали татары. И на моей памяти татар было особенно много (они исчезли только после войны). Многие из них работали дворниками, сапожниками, чистильщиками обуви. Но больше всего татар было на Замоскворецком рынке – самом дешевом в Москве. Запомнилось, что никто с ними особо не церемонился, и наши крестьяне понукали ими, как хотели. А еще сновали оборотистые китайцы, которые не боялись ни тех, ни других и всем навязывали табак, детские мячи на резинках и сосательные конфеты.



*Будущая актриса и в школе была окружена всеобщим вниманием.
Нина Архипова среди одноклассников (во втором ряду в центре)*



Я помню, как китайцы показывали на рынке фокусы с яблоками, а еще вели они мелкую торговлю на всех рынках, где мне довелось побывать. Торговали галантереей и у памятника первопечатнику Ивану Федорову – у Китайгородской стены, и потому долгое время в Москве бытовало поверье, будто бы Китай-город свое название получил от этого места торговли.

Были у них и свои прачечные, поэтому те, кому некогда было заниматься домашним хозяйством, отдавали китайцам в стирку белье.



Но у нас в доме стиркой занимался папа (слава богу, был водопровод, разве что купаться мы ходили в баню). Он и готовил сам, и все по хозяйству делал, а я вела себя как барыня, зная, что все это ради меня. Например, когда я устроилась в музыкальную школу, он тут же решил мне помочь и нарисовал клавиши на картонке, а вскоре купил по дешевке и старинный прямострунный рояль красного дерева. Особенность инструмента была в том, что звук он издавал совсем непривычный, и настоящий музыкант не смог бы на нем играть. Но я занималась с удовольствием. И когда собирались мои подруги и начинали на нем бренчать, то я просила их прекратить – мне это не нравилось.

Наш дом до революции принадлежал какому-то заводу. Комнаты, где отец поселился, были заранее освобождены (вероятно, жильцам дали новые квартиры): одну комнату папа уступил мне, во второй поселился сам, но оставалась еще третья комнатка, где жили старичок со старушкой – ветераны завода, с которыми я легко подружилась.

Они же и стали свидетелями нашей семейной драмы.

«Папа звонил Ворошилову»

Прежде отец казался мне крепким, волевым человеком, но вдруг я стала замечать, что ему слишком тоскливо без мамы – вся эта история, конечно, не могла пройти бесследно. И если раньше он никогда не пил, то теперь стал вдруг где-то задерживаться с приятелем. Чувствовалось, как он старается себя пересилить. Мог долгое время не выпивать, но потом снова встречал приятеля, тот его уговаривал пропустить по два глотка пива, и все начиналось сначала.

Но он боролся.



«Музыкальную школу я кончила с отличием и по нынешний день без музыки не могу прожить и дня»



Звонил, например, Ворошилову (они были знакомы с Гражданской войны):

– Клим, что мне делать?

И тот направлял папу на улицу Радио – в специальное заведение, где лечили пьющих людей. Ему становилось легче и, казалось, недуг вот-вот пройдет. Папа вновь становился общительным, интересовался моими успехами. Но спустя полгода история повторялась.

А потом мне один врач сказал:

– Не пытайтесь его исправить. Если он пьяница – то это одно, а алкоголизм – совсем другое.



Врач, увы, оказался прав: болезнь все больше его затягивала. Дело дошло до специализированной больницы, куда я, конечно, ездила, навещала папу. И очень уж было непривычно видеть его среди пациентов.

Его подлечили, выписали, но однажды в переулках Замоскворечья он встретил своего давнишнего приятеля венгра.

– Ни нуля, это замечательный революционер, – говорил мне папа.

Оказывается, они познакомились еще на фронте, потом их судьбы разошлись, поскольку тот в Венгрии попал в тюрьму, много лет находился в ссылке до тех пор, пока за него не заступились наши власти и не вытащили его оттуда, избитого и больного. Он получил жилплощадь в Москве и ни один коммунистический праздник не обходился без него, поскольку к нему стали относиться как к заслуженному коммунисту, едва ли не герою.

Но поскольку венгр был сильно изувечен, ему как обезболивающее выписывали препараты, содержащие наркотики. И он предложил моему отцу, страдающему бессонницей и депрессией:

– Давай, я тебя уколю, сможешь заснуть.

Так и сделали. Подействовало.

И когда наступали трудные периоды, венгр появлялся со своим препаратом, делал укол, и отец засыпал.

Я так радовалась, потому что к нему вернулось хорошее настроение, депрессия его отпустила. Даже начались разговоры, что, дескать, папе не помешает жениться (причем во дворе была женщина, которой папа нравился).

Однажды венгр пришел в очередной раз. Заглянул ко мне в комнату:

– К папе иду.

Они пообщались, венгр сделал укол и ушел.

Спустя какое-то время мне понадобилась шкатулка с нитками (а она стояла в папиной комнате в шкафу). И я босиком прошла по коридору, открыла к нему дверь, взяла нитки и краем глаза заметила,



что папа лежит с папиросой в руке – дымок еще идет, но глаза закрыты.

Я подумала, какой странный цвет лица...

Закрyla дверь, пришла в свою комнату.

Постучалась в стенку к соседям и говорю:

– Тетя Глаша, посмотри, папа там спит или нет?

– А он нужен тебе?

– Нет, я нитки взяла, но вы посмотрите...

Она прошла, и вдруг слышу оттуда:

– А-а-а-а!

И куда-то бежит, поднимает весь дом, все кричат, и я теряю сознание. Когда открыла глаза, в квартире были врачи. И много соседей.

– Он умер. Умер. Коля, Николай Матвеевич, умер.

И все бегали мимо моей двери. Ко мне никто не заходил, я сама кое-как пришла в себя.

Тело забрали в морг. Организацией похорон занялась Надежда Александровна. Я тяжело пережила смерть папы, не могла поверить, что его больше нет. А на следующее утро я проснулась, взяла свой портфель, пошла в школу. Школа стала моим вторым домом.



ОДИНОЧЕСТВО ЮНОГО ЧЕЛОВЕКА

«Девочка сидеть здесь не будет»

В последующие два года в той папиной квартире я жила одна. Соседи меня подкармливали и на этом их опека, в общем-то, заканчивалась, поскольку особых поводов для беспокойства я не вызывала. Они знали, что по вечерам я хожу в театр. А впервые попала я туда в шестом классе, как только поселилась в Замоскворечье. Произошло это так. Однажды прогуливаясь по Ордынке, увидела афиши и толпу. Решила зайти – посмотреть «Марию Стюарт». Но до конца не досмотрела – расплакалась. Помню, как какой-то человек протянул мне платок, а потом взял меня за руку и помог выйти в коридор:

– Девочка, не переживай...

На том мое первое знакомство с театром закончилось. Но прошло несколько дней, и я снова сидела в зрительном зале.

Со временем я узнала, что Марию Стюарт играет Клавдия Половикова. И с тех пор она стала моей самой любимой актрисой. Билетерши на входе ко мне привыкли и билета не спрашивали. И я, конечно, рассказывала всем друзьям, как замечательно в театре. Один мальчик мне сказал:

– Вот ты ходишь, а меня не берешь.

Я ответила:

– Возьму, если повезешь на санках.



И он несколько раз возил.

Шло время, в Новом театре на Ордынке я пересмотрела весь репертуар, и вдруг захотелось побывать в каком-нибудь другом театре. А в каком? В ту пору все только и говорили что про Театр Мейерхольда (располагался в начале Тверской – там, где теперь Театр Ермоловой). И я решила сходить туда. Кажется, пробралась без билета, но направилась уверенно в партер. Публики было много, все занято. Я бегала среди рядов – искала себе место, как вдруг какой-то человек взял меня за руку и усадил рядом с собой. Сзади возмутились:

– Девочка сидеть тут не будет.

На что человек ответил:

– Нет, будет!

В этот момент погас свет, и, шелестя бархатом, открылся занавес. Я увидела покатуя сцену и залитые светом полувоздушные декорации в розовато-сиреневых тонах².

Но главное – это, конечно, Маргарита Готье в исполнении Зинаиды Райх. Сегодня о той легендарной роли написано немало. Я же хочу сказать лишь о своем юношеском впечатлении. На сцене была звезда-куртизанка из парижского салона – дама неотразимой красоты, которая без памяти влюбилась в молодого поэта Армана. Райх играла свою героиню беспомощной, ранимой женщиной, готовой пустить в ход всю силу женских чар (она и правда была очень красивой в этой роли), однако терпела полное поражение. И все ее несчастья я воспринимала, как личные несчастья – так что и здесь не сдержала слез... К тому же, она играла слишком по-русски, делая упор на драму, на несложившуюся любовь. Наверное поэтому мне врезался в память финал. Как умирала ее героиня! Мейерхольд посадил ее спиной к зрительному залу так, что была видна только рука. И вдруг рука становилась мертвенно тяжелой. Это было потрясение: никогда прежде я не думала, что смерть можно сыграть

² Спектакль В. Мейерхольда по пьесе А. Дюма-сына «Дама с камелиями».



Роман Всеволода Мейерхольда и Зинаиды Райх вызывал не только восхищение, но и недовольство, ведь Райх стала играть все главные роли в его спектаклях



так изящно, но в то же время со всей трагической глубиной... Зал аплодировал долго. Звали режиссера. И вдруг человек, столь любезно усадивший меня, поднялся и вышел на сцену – кланяться. Это было еще одно потрясение: весь вечер мы, оказывается, сидели рядом.

После этого забыть о Мейерхольде было, конечно, невозможно. И я приспособилась ходить туда, на Тверскую, – видела и «Ревизора», и «Горе уму» и ряд других спектаклей. Но помню, что божественный образ Зинаиды Райх для меня довольно скоро потускнел. Я стала подмечать повторы, одноплановость. Например, она была порочной Софьей в «Горе уму» и столь же порочной Городничихой в «Ревизоре». Причем в «Ревизоре» ее образ показался мне особенно тяжелым (может быть, даже несуразным) и прежде всего за счет наряда. На Райх были какие-то шляпки и береты, европейские платья. Зрители в антракте судачили: лучше бы Городничиху Бабанова играла (некогда она была первой мейерхольдовской актрисой, но, увы, в ту пору ей доставались уже второстепенные роли).

Оформление спектакля подробно описал Вадим Гаевский: «Даму с камелиями» Мейерхольд решил поставить в стиле художников-импрессионистов, Жана Ренуара и Эдуарда Мане, в нежных голубовато-розовато-сиреневых тонах, а главной героине пьесы, Маргерит, парижской содержанке, придать вид модели художников, что сразу, вопреки сентиментальным ситуациям мелодрамы младшего Дюма, бесконечно облагородило ее, поставив в ряд знаменитых натурщиц и муз живописцев, наподобие Виктории Меран или Берты Моризо Эдуарда Мане или Мари-Клементины (она же Сюзанн Валадон) Огюста Ренуара.

По плану самого Мейерхольда художник Иоганнес Лейстик, работавший в ТИМе в начале 30-х годов, смакетировал выгородку, поразительным образом используя все возможности неширокой, неглубокой и невысокой сцены. Сцена была перегороджена по диагонали легчайшей стенкой-щитом, задрапированной занавесами ренуаровских нежных расцветок; в правой (от зрителя) части открывалась невесомая ажурная лестница в стиле только лишь зарождавшегося *art nouveau* (парижский вариант стиля модерн); в левой части, как, впрочем, и в глубине, стояли предметы антикварного мебельного гарнитура.

По ходу действия слева слегка обозначался салон Маргерит с ее прекраснейшим антиквариатом, а справа салон Олимпии с большим зеленым картонным столом, за которым сидели гости. И вся эта выгородка – своей легкостью, невесомостью, прозрачной и ничем не утяжеленной красотой отдаленно, но и ненамеренно напоминала картонный домик: достаточно сильного дуновения, и все исчезнет, все рухнет».

Гаевский Вадим. Две «Дамы» // Наше наследие. № 99. 2011.



«Подождите на лестнице»

Общаться с артистами мне прежде не доводилось, поэтому когда в школе стали искать ребят, которые взялись бы пригласить на Новый год балерину Ольгу Лепешинскую и кукольника Сергея Образцова, я вызвалась первой.

Зима была лютая. По сугробам вместе с одноклассником добрались к дому Лепешинской, звоним в дверь — тишина. Но мы же упрямые — продолжаем звонить и звонить. Наконец, дверь слегка приоткрылась, и сквозь щель мы увидели пожилую даму — явно это была домработница:

— Чего вам?

— Здравствуйте, мы пионеры из школы... Готовится новогодний вечер... Нам поручили... Вот тут записка для Ольги Васильевны...

— Ладно, ждите, — сказала женщина. Взяла записку и закрыла дверь, оставив нас в ледяном подъезде.

Сидим, ждем. Полчаса проходит, час, никто к нам не выходит. Наконец позвонили еще.

Дверь отворилась, и все та же домработница протянула записку от Лепешинской, в которой она сообщала, что придет.

— А саму Ольгу Васильевну увидеть можно?

— Нет, она занята.

И тяжелая дверь затворилась.

Следом мы направились к Сергею Владимировичу — в Глинищевский переулок. Поднялись на лестничную площадку, подошли



Ольга Лепешинская



к квартире, как в ту же секунду раздался лай собак, а следом появился Сергей Владимирович и, ни о чем нас не спрашивая, сказал:

— Подождите тут, я сначала собак запру...

И ушел в дальние комнаты, но через мгновение вернулся, широко распахнул дверь и снова, не дав сказать нам ни слова, пригласил в дом:

— Вижу, вы закоченели. Проходите — будем чай пить.

И мы прошли. Но за стол сели не сразу — какой там чай, когда от удивления глаза разбегаются. Вот стоит большой крутящийся шар, вырезанный из кости, а в нем еще один, а там еще и еще. Вот на стене висит рама, где на бархатной зеленой подложке роскошный портрет Шаляпина. А еще повсюду куклы и какие-то невероятные механические птицы, и фотографии, и картинки, и волшебная лампа... А потом на кровати я увидела сиамскую кошку с котятками, протянула к ней руку, чтобы погладить, но Образцов крикнул:

— Стой, стой, стой.

Но было уже поздно. Кошачьи когти впились в мою руку. С тех пор я не люблю эту породу.

А потом началось чаепитие. Сергей Владимирович много говорил о театре, рассказывал о своих куклах. И на школьный вечер он пришел с удовольствием. Была и Лепешинская, но я относилась к ней уже без особого пиетета. Выступила, и слава богу.

...Через много лет мы с Сергеем Владимировичем подружились. Я ему из Индии привезла танцующую куклу. Его очень тронул мой рассказ о посещении его дома, и он даже поместил его в своей книге.



Сергей Образцов





«Возьмите ваши брильянты,
они жгут мне грудь»

Когда обо мне пишут, то всегда сообщают, что, дескать, Нина Архипова с детства мечтала стать артисткой. Однако все это домыслы, поскольку ни о какой сцене я не мечтала. Все случилось слишком легкомысленно.

В седьмом классе со своей школьной подругой я бродила по Замоскворечью и на Бахрушинской улице на дверях Дворца пионеров увидела объявление о том, что ребята, желающие заниматься в театральной студии, приглашаются для прослушивания в такой-то кабинет. От скуки я сказала подружке:

– Слушай, а пойдем попробуем?

– Ну, как мы пойдем? Мы ничего не знаем.

Но азарт меня одолел:

– Почему же не знаем? Я знаю письмо Татьяны Лариной...

Я в самом деле на литературных вечерах в школе читала это письмо и на середине от сострадания к Лариной начинала плакать, чем производила ошеломляющее впечатление. Теперь мне захотелось повторить его и в театральном кружке.

Подруга помялась, но тоже вспомнила какое-то стихотворение, и мы зашли – ради любопытства. Но когда свое несчастное письмо я прочла Евгении Яковлевне Веселовской (она руководила кружком), то удивилась, что мои слезы на нее никак не повлияли. Она даже бровью не повела. Потом стихотворение прочла подруга, и нам сухо сказали, что результат будет завтра.

На другой день подруга говорит:

– Ты знаешь, я не пойду.

А я пошла. И оказалось, что меня взяли, а подругу – нет.

Так начались мои занятия во Дворце пионеров.



«В седьмом классе я стала часто прогуливаться по московским переулкам, где и встретила объявление о наборе в театральный кружок...»



Однажды Евгения Яковлевна решила поставить «Коварство и любовь» Шиллера, а мне поручила играть леди Мильфорд, которая по своему типу была полная противоположность мне (я бы хотела играть Луизу). Поэтому в одной из сцен мне пришлось против собственной природы говорить низким голосом, срывая с себя бусы:

– Возьмите ваши брильянты, они жгут мне грудь.

Спектакль имел успех. И когда мы завоевали первое место на районном смотре, многие отмечали мою игру. Успех в таком возрасте всегда окрыляет.

В общем, в школе, когда нам задали писать сочинение в жанре вопрос-ответ, я на вопрос о будущей профессии сообщила, что хочу



быть артисткой. Одноклассники узнали об этом и стали надо мной посмеиваться:

– А-а-а, смотрите, Архипова решила в артистки идти.

Я и сама хихикала: ну, поступлю – стану артисткой, а нет – буду искать себе другую профессию.

Впрочем, в десятом классе этот вопрос стоял уже острее, ведь теперь моим выбором заинтересовалась Евгения Яковлевна и, узнав, что я подала документы в ГИТИС, Щепкинское училище и Школу при Театре Вахтангова, пригласила меня на разговор. А точнее сказать, говорила, она сама:

– Нина, не торопись идти в театральный. Вот сейчас ты играешь, получила премию, в школе тебя хвалят. Но я хочу, чтобы ты знала: театр состоит не только из радости. Я, например, видишь, в театре работать не смогла. У меня такой характер – не бойцовский. А уж твой характер я знаю – ты бороться не умеешь. Вместо репетиций мчишься на каток, текст никогда не повторяешь. А театр требует жертвенности. Если ты понимаешь, что не справишься с этим – лучше откажись, найди другую профессию.

Ее речь была долгой-долгой. И домой я шла в некотором смятении. Но через день мы встретились снова.

– Нина, ты передумала?

– Нет, я все равно решила поступать.

И тут уже Евгения Яковлевна отговаривать меня не стала. Она снова задержалась после репетиций, и мы стали обсуждать, какой материал взять для поступления. Причем среди всех заведений (разницы между ними я не видела никакой) она мне советовала именно Школу при Театре Вахтангова. Однако там я едва не потерпела фиаско...

ВАХТАНГОВЦЫ



Образцовая хулиганка

На экзаменах при поступлении в Вахтанговскую школу я читала стихи и прозу – все как полагается. Но комиссия вдруг спросила:

– А что еще вы можете нам прочитать?

Я немного растерялась, стала перебирать в памяти свой репертуар (у них явно не сложилось обо мне достаточного впечатления) и сказала:

– Монолог леди Мильфорд из драмы Шиллера «Коварство и любовь».

Повисла тишина, педагоги переглянулись, а я начала читать. Но вместо привычного сострадания обнаружила, что вахтанговцы улыбаются, а после фразы: «Возьмите ваши бриллианты, они жгут мне грудь», – которую я произнесла с особо трагическим надрывом, они вдруг расхохотались.

– Спасибо, можете идти, – услышала я под конец и поняла, что напрасно читала свой монолог.

Но оказалось, что конкурс я все же прошла. Пару лет спустя Мансурова объяснила мне, что мои заготовки комиссия приняла весьма сдержанно: наверняка, не произвели бы эффекта ни какое-нибудь очередное стихотворение, ни монолог Луизы из «Коварства и любви». Но поскольку я выбрала образ совершенно противоречащий моей



фактуре, а вахтанговцы любили все необычное, то их и подкупил этот «оригинальный выбор», и они приняли меня в свою большую «семью».

Кстати, «оригинальный выбор» был моей стихией по тем временам. И если на творческом конкурсе мне повезло, то мои экзамены по общим дисциплинам едва не кончились провалом.

Дело в том, что до войны при поступлении в любой вуз или училище нужно было сдавать полный набор школьных предметов, включая химию, физику, математику...

Я подумала: а зачем же я буду сдавать физику или математику, когда только что в ГИТИС сдала литературу за свою подругу? То есть я пришла на ее экзамен, взяла билет, представилась ее именем и ответила за нее. То же самое я сделаю и в Театре Вахтангова, только на этот раз она меня выручит, поскольку математику знает на отлично. Расписала ей порядок действий, и подруга пришла – взяла билет, написала фамилию Архипова – села готовиться.

Правда, одной вещи я не учла: слишком бросался в глаза высокий рост и широкие плечи моей подруги. Дама она была весьма колоритной, да еще и носила, к тому же, немецкую шуцбундовку.

– Она в артистки поступает? – шептались студенты в коридоре...

Для виду я тоже взяла билет, и, написав чужую фамилию, отсела за дальнюю парту, якобы решать задачу, а сама стала выжидать, когда подруга сдаст экзамен вместо меня. Расчет был такой: я выйду из аудитории следом за ней, положив пустой лист перед экзаменатором.

И все бы хорошо, но вдруг в коридоре студент старшего курса Толя Колеватов (впоследствии муж нашей артистки Ларисы Пашковой) стал говорить приятелям:

– К нам берут такую хорошенькую девушку...

– А как фамилия? – спросили они.

– Архипова.

Приятелям захотелось на меня взглянуть, и один из них зашел в аудиторию – стал ходить по рядам и читать на листочках фамилии (присутствовать на экзаменах старшекурсникам разрешалось).



Он дошел до моей приятельницы, прочитал фамилию и выскочил к Колеватову в коридор:

- Жуть, кобыла какая, да еще и мужеподобного вида.
- Какая кобыла? – изумился Толик. – Вон же Архипова в углу сидит.
- Ты что, Архипова за второй партой задачу решает.

В общем, начался спор. И вдруг какая-то грозная дама говорит:

- Вы шумите, мешаете экзамену.

Ребята не растерялись:

- Мы запутались – не можем понять, которая из девушек Архипова.

Что-то стали рассказывать, и дама, заподозрив неладное, вызвала нас с подругой в коридор:

- Вы кто?
- Архипова.
- А вы кто?
- И я Архипова.

Обман вылился наружу, и меня отстранили от дальнейших экзаменов, а дело передали в Министерство образования, указав, что я нарушительница. Строгая дама мне сказала:

- Идите в Министерство и объяснитесь.

На следующее утро я направилась туда. Почему-то не было ни страха, ни раскаяния: верила, что справедливость на моей стороне. И когда я вошла в большой кабинет, то с порога стала рассказывать о непомерно завышенных требованиях (16 экзаменов!) и о своей «выходке», которая была, в общем, вполне вынужденной и справедливой, ведь за подругу в ГИТИС экзамен сдавала именно я, так что беды никакой нет – я сильна в одних науках, подруга в других.

За столом сидел молодой человек со своим приятелем (тот, вероятно, зашел по делу). Я заметила, что ко мне ребята отнеслись довольно благожелательно: теплая улыбка была на их лицах. Возможно, что в глубине души они и были солидарны со мной. В самом деле, зачем артисту математика и химия? Но все же внешне они держались вполне официально:



– Мы должны вас как-то наказать, – сказал хозяин кабинета. – В ГИТИСе ваш трюк сработал? Туда вы поступили?

- Да.

– В таком случае результаты ваших экзаменов в ГИТИСе мы аннулируем и фамилию вычеркиваем из списка поступивших.

Но с этим я легко смирилась, поскольку они разрешили написать заявление о пересдаче математики осенью. Так что дело вернулось в Школу при Театре Вахтангова.

– Подумай, пожалуйста, – говорит эта грозная дама. – Ей, хулиганке, разрешили сдавать экзамены! Она себя уже зарекомендовала, так что поблажек не будет.

И я знала, что осенью она приведет самого строгого математика, рассказав ему о моих проделках. Но когда наступила пересдача, то пришел довольно симпатичный педагог и спросил у меня:

- Ты выбрала профессию актрисы?

- Да.

- А давно решила?

- Давно.

Я рассказала про Евгению Яковлевну, про «Коварство и любовь» и про свой успех с леди Мильфорд.

- Ну, понятно, значит, ты определенно решила.

И дает мне простейшую задачку. Я решаю сходу – получаю пять. И вдруг слышу голос моей «преследовательницы»:

– Да она же математик! Вы видите, у какого преподавателя она получила пятерку! А вы знаете, кто он! И она у него – пять. Девушка, которая знает математику, будет умной актрисой...

Я ушам своим не верила. Стало быть, эта грозная дама – в дальнейшем моя любимая Галина Григорьевна Коган, зав. учебной частью, – меня простила, и можно приступать, наконец, к занятиям. С этими мыслями я пришла в Школу при театре в свой первый учебный день, не подозревая, что для меня он едва не окажется последним...



Сомнительный розыгрыш

Со своими однокурсниками я впервые встретила на уроке по технике речи. Ребята делали упражнения, разминали губы – все им было знакомо, а я понять не могла, куда попала и когда начнутся репетиции. Педагог говорит:

– Работайте над артикуляцией. Когда будете скороговорки произносить, слова должны звучать отчетливо. А для этого нужна правильная разминка.

Все стали крутить губами, то сжимать их в трубочку, то растягивать «до ушей». Смотреть без смеха на это я не могла. Взяла карандаш и тихонечко уколола в бок свою подругу. Та взвизгнула, и в ту же секунду раздался возглас преподавателя:

– Как ваша фамилия? – это педагог спрашивает у меня.

– Архипова.

– Выйдите, пожалуйста, из класса.

Я думаю: «Нет, ну подумать только, как же она разглядела карандаш? Она должна была сделать замечание моей подруге за смех, но уж точно не мне».

А в коридоре эта мысль сменилась другой: «Мамочки, меня ведь только что приняли, только что простили, а я в первый же день получаю замечание». И вдруг слышу:

– По-моему, вас зовут Нина?

Оборачиваюсь. Это артист Константин Яковлевич Миронов спрашивает у меня.

– Да.

– А почему не на уроке?

Я рассказала о своей проделке, он говорит:

– Пойдите назад и скажите, что Миронов разрешил продолжать занятия. И больше, пожалуйста, не нарушайте.



Я постучалась, извинилась, мне разрешили войти. Но нарушения мои на этом не прекратились. Например, однажды, вскочив на перила, я скатилась на первый этаж и... оказалась у ног артиста Василия Кузы. Он приложил палец к глазу (у него было неважное зрение, и поэтому так он делал всегда, когда хотел что-то разглядеть) и спросил:

– Как ваша фамилия?

– Архипова...

– Я запомню.

Наверняка недостойным ему показался не только мой поступок, но и туфли с каблук высотой в 12 сантиметров...

Школа при Театре Вахтангова – это был дом, где каждый друг друга знал, как в большой семье. И в Школу принимали, как в семью, потому что с первых дней все были вместе: и студенты, и педагоги, и артисты... Мы смотрели спектакли, посещали репетиции... У нас была, например, общая столовая, где студентам позволялось бесплатно брать гарнир (стипендии были крошечные), а платили мы только за мясные блюда. Но это к слову. Как-то в столовой на меня закричала педагог курса Вера Константиновна Львова:

– Что ты ходишь с растрепанными волосами! Я не первый раз прошу: собери свои волосы.

Она стала вынимать свои шпильки и быстрыми движениями поправлять мою прическу.

На нас смотрели. И когда Вера Константиновна закончила, я пошла в парикмахерскую, где со злости постриглась под мальчика.

– Нина, что ты сделала, – удивилась при встрече Вера Константиновна. – Разве ты забыла, что репетируешь Бекки Тэтчер. У нее длинные красивые волосы, у нее банты. А как же нам быть теперь?

Пригласили парикмахера, стали спасать положение. Но история, к счастью, кончилась благополучно: наш отрывок из «Тома Сойера», который мы играли вместе с Валерой Заливиным, понравился Мансуровой, и она пригласила нас в свои концерты, которые исполняла



вместе с Рубеном Симоновым. Мы с Валерой выходили в промежутке между их номерами. Вера Константиновна продолжала относиться ко мне строго и работала над каждой мелочью.

Однажды мы репетировали сцену, в которой я играла китайку, служащую в прачечной. Я сделала похожий грим: нарисовала узкие глаза, собрала волосы в пучок, засеменила услужливой походкой, но Вера Константиновна сказала:

– Нина, я уже пять минут на тебя смотрю. Ты можешь хотя бы слово сказать?

– Не могу.

– Почему?

– Не знаю китайского...

– Тебе же не надо говорить по-китайски. Достаточно уловить интонацию, манеру... Пусть она произносит всего лишь одно слово по-русски, но в этом слове будет вся ее китайская душа.

И хотя подобных замечаний было очень много, у меня никогда не опускались руки. Тут для меня все свои, это мой дом (видимо потому, что родного дома как такового не было) и в меня верят, не смотря на хулиганства.

В конце первого курса Борис Евгеньевич Захава наградил меня поездкой в дом отдыха Плесково. И когда я приехала в Плесково, то оказалось, что среди отдыхающих появился молодой человек из Малого театра. Такой надменный, с прямой спиной, высокий и очень важный, чем сразу вызвал к себе антипатию. Мы решили немного его осадить (тем более что нас он еще не запомнил в лицо). Ребята придумали: я должна попросить, чтобы парень вечером проводил меня в соседнюю деревню (дескать, книжку вернуть надо), а они тем временем будут караулить нас в кустах на полдороге от дома, и, когда мы приблизимся, выскочат и схватят его:

– Снимай брюки.

А наутро скажут в санатории:

– Шли по лесу. Смотрим, чьи-то брюки на кусте лежат...



*Сцена из ученической работы в Школе при Театре Вахтангова.
Бекки Тэтчер — Нина Архипова, Том Сойер — Валерий Заливин*





Борис Васильевич
Щукин

Нам казалось это ужасно смешным. Я подошла к молодому человеку:

– Ты можешь меня проводить в деревню?

Он скривился и сказал:

– А что больше некому?

Я говорю:

– Вот некому, а книжку отнести надо.

И мы с ним пошли. Но когда наши ребята выскочили из-за кустов, он так громко стал кричать, что те успели снять только ремень. И скрылись.

Я смотрю – бежит с горы наш инспектор, старшие отдыхающие. Спрашивают у меня, что произошло. Я вместо того чтобы признаться, отвечаю:

– Вышли какие-то парни, сказали – раздевайся. А меня схватили вот так за руки, но при первом крике убежали.

Переполошился весь санаторий. Дамы говорят:

– Утром мы уезжаем, раз здесь водятся бандиты.

В общем, наш розыгрыш наделал много шума – в тот вечер все говорили только о жуликах, никто не спал, кроме моих товарищей. И кто-то решил, что их спокойствие слишком уж подозрительно. В конце концов, нас раскололи, пришлось сознаваться, что, конечно, не могло остаться без внимания старших вахтанговцев. Осенью, когда я пришла в Школу, Борис Захава начал свою приветственную речь с разговора о дисциплине:

– Но самое обидное и печальное, – отметил он, – это история с Ниной Архиповой. Летом она приняла участие в сомнительном розыгрыше. Этот розыгрыш непростой, нешуточный, он мог стоить молодому человеку здоровья. Я считаю, что Нина Архипова должна нести ответственность.

Его речь длилась долго. И завершилась тем, что подобное поведение недопустимо среди вахтанговцев.

– Евгений Багратионович, безусловно, повел бы себя строже, – говорил он. – Но мы дадим актрисе шанс оправдать себя. Это последний шанс. И если последуют очередные нарушения – отчисление последует незамедлительно.

И все же оказанное мне доверие я не оправдала. Дело в том, что у нас нельзя было пропускать занятия, в особенности если ты занят в репетициях. Это считалось антиобщественным поступком: ты ведь подводишь своих товарищей. Однажды утром я открыла глаза (в дверь стучали), глянула на часы – проспала. Первая мысль: прибежали ребята сказать, что меня вызывают к Захаве. Открываю – стоит Толя Колеватов с приятелем:

– Нина, сегодня занятия отменили, потому что умер Щукин.

Я ахнула: это был ужас. И в то же время поняла, что проскочила.

Для Вахтанговской труппы смерть Бориса Щукина воспринималась равносильно крушению театра: любимый ученик Евгения Багратионовича, один из интереснейших актеров довоенной Москвы, ушел в мир иной на взлете своей сценической карьеры (актеру было всего 45 лет). Только вчера на экраны вышли фильмы «Ленин в октябре» и «Ленин в 1918 году», вот-вот должна была состояться в театре премьера «Ревизора» с Щукиным в роли Городничего, но утром 7 октября 1939 года его нашли мертвым в спальне собственной квартиры. В тот же день Москва судачила о том, что под подушкой у Щукина лежала книга Дидро «Парадокс об актере» (он читал

ее перед сном). Смерть Бориса Васильевича – это первая потеря в рядах учеников Вахтангова после ухода из жизни учителя. Человек он был закрытый, почти что замкнутый. За кулисами – всегда немногословный, тихий. С ним нужно было уметь общаться, что редко кому удавалось. Однако ж Вахтангов разглядел огромное артистическое дарование в этом бывшем красноармейце, сыне железнодорожного буфетчика. Своей бесподобной игрой он заражал партнеров по сцене и видно было, как рядом с ним в «Егоре Булычове» укрупняется, чудесным образом «подсвечивается» талант Михаила Державина, Елизаветы Алексеевой, Виктора Кольцова

и многих-многих других артистов, ведь планку он задавал высочайшую. Нина Архипова вспоминает, как на репетициях «Ревизора» стояла в массовке и видела, что актер незаметно поглаживает живот в районе печени – все знали, что его мучают страшные боли, но они ни разу не послужили причиной отмены репетиции или спектакля. Борис Васильевич терпел и терпел стойко. Вообще это был какой-то неписанный закон старших вахтанговцев – не жаловаться на недомогание, скрывать свои недуги, не казаться печальным и озабоченным (все это оставалось за стенами театра).



Моя дорогая Цилюша

На втором курсе мне предстояло сыграть в отрывке из романа Лескова «Обойденные». И здесь моим педагогом стала Цецилия Львовна Мансурова.

Портрет Доры так нарисован писателем: «Восхитительной красоты девушка с золотисто-красными волосами, рассыпавшимися около самой милой головки. Эта стройная девушка скорее напоминала собой заблудившуюся ундину или никсу, чем живую женщину, способную считать франки и сантимы или вести домашнюю свару».

Как играть «заблудившуюся в людях ундину»? Как играть эту экзальтированную, тонкую натуру? Как играть влюбленную Дору, да еще и влюбленную в очень опасной для нее ситуации?

С этих вопросов и начала первую репетицию Цецилия Львовна. Она задавала их, не рассчитывая, конечно, на то, что мы сможем ей тут же ответить. Наоборот. На нас обрушился психологический разбор отрывка, который нам предстояло играть.

— Очень трудно играть любовь, — говорила Цецилия Львовна. — Ее нельзя играть «вообще». Перед тобой партнер, которого ты должна не вообще любить, а каждую черточку на его лице, его рот, его глаза, его ресницы... Все, безраздельно все должно нравиться тебе в твоём партнере: и его походка, и как берет книгу или затягивается папирсой.

Кстати, она прелестно показывала, как некоторые мужчины вдыхают табак, как-то очень манко, хотя сама никогда не курила.

— И тогда у тебя появится конкретное, «сиюминутное» чувство, — продолжала она. — Нельзя быть просто экзальтированной. Ты должна научиться быть внутренне подвижной, чтобы тебе были подвластны точные, мгновенные переходы от одного отношения к факту — к совершенно противоположному. Она — твоя героиня (а в данном случае



*Всегда жизнерадостная Цецилия Мансурова
стала для Нины Архиповой не только
педагогом, но и другом*



ты!), словно ребенок задает ничего не значащие вопросы и вдруг, резко меняя тон, говорит свысока, придирчиво. Притом эти свои порывы она не может, да и не хочет сдерживать...

И тут же Цецилия Львовна ярко, талантливо все это сыграла. Она сама была захвачена, увлечена образом Доры.

Я, раскрыв рот, с удовольствием слушала все, что с таким обворожительным талантом набрасывала нам Цецилия Львовна. А она касалась всего на свете, что волновало ее в этот момент. Но вдруг мой партнер стал шептать:

– Сколько можно терпеть? Долго еще она будет говорить?

– Ты что, с ума сошел?!

Готова была слушать ее бесконечно. Но вдруг Цецилия Львовна говорит:

– Ну, а теперь давай, Нина, выходи.

Я опешила:

– Как «выходи»? Уже выходить?

Не знала с чего начать.

– Вот! – подытожила Мансурова. – Актер должен быть сразу готов к работе, а ты, лентяйка, устроила себе санаторий, не знаешь, как работать над ролью.

Но все же работа как-то началась, а вечером раздавался телефонный звонок Цецилии Львовны, и мы снова и снова продолжали обсуждать каждую деталь.

Когда мы случайно встречались на улице, она, забыв о своих делах, останавливала меня вопросами: думаю ли я над тем, как моя Дорочка будет одета, как причесана?.. У меня создавалось впечатление, что для Мансуровой не существует сейчас ничего другого, кроме меня и моей роли.

Однажды к нам в Школу пришел корреспондент «Комсомольской правды» брать интервью: ему понравился наш отрывок, который он видел в ЦДРИ. На показе достал блокнот, ручку... И тут Цецилия Львовна начала нас так ругать, что корреспондент растерялся.



Особенно досталось мне: и несобранная я, и с ленцой, и как она намучилась со мной... А ведь она действительно намучилась!

И когда Цецилия Львовна выговорила, излила свои чувства, она успокоилась, и тут уж мы получили от нее массу похвал. Корреспондент оживился... Расхваливала она тоже со свойственной ей щедростью. Мансурова хитро улыбалась, понимая, что урок пойдет нам на пользу.

И так постепенно Цецилия Львовна из моего обожаемого педагога превратилась в близкого человека. Я даже получила право называть ее Цилушей – нас часто видели вместе, мы прогуливались после спектакля, и однажды к нам подошел молодой человек.

Что делают знаменитые актрисы при встрече с поклонниками? Ответ очевиден... Но Цилуша была Цилушей: она не стала хвататься за голову и сочинять отговорки, будто опаздывает на поезд или торопиться в больницу – любопытство (как у настоящих, больших артистов) брало над ней верх. В такие минуты она напоминала ребенка:

– Очень приятно с вами познакомиться, – сказала она молодому человеку и крепко, деловито пожала ему руку.

А кончилось это знакомство тем, что, расставаясь, поклонник пригласил нас в гости (у него был переносной проектор, и он устраивал дома киносеансы). Я была уверена, что Мансурова никуда, конечно, не пойдет. Но, попрощавшись с молодым человеком, она все так же залихватски спросила:

– Нинка, а давай сходим – кино посмотрим?

Так завязалось это знакомство и уже через несколько дней мы с Цилушей гадали, кто из нас ему понравился больше. Но все это, конечно, на уровне шуток. О настоящих свиданиях не могло быть и речи.



«Есть человек, которому ты нравишься...»

К своим ухажерам я тоже относилась довольно поверхностно – так сказать, без далеко идущих планов. И вечерами, отправляясь с сокурсниками в кафе «Националь», слушала джаз, танцевала то с одним, то с другим... Мне было интересно и весело – думала, что настоящая любовь придет когда-нибудь потом, а сейчас мы друзья – и дружить будем до конца своей жизни.

То есть легкость, ирония, царившие в Вахтанговском театре, невольно отражались и на твоём поведении «на стороне». Но однажды я, наверное, заигралась – не знаю, как иначе объяснить.

Дело в том, что в 1936 году был закрыт Второй МХАТ. Многих учившихся там студийцев перевели в Школу при Театре Вахтангова. Так наши ряды пополнили: Николай Гриценко, Елена Фадеева, Нина Попрыкина, Юра Любимов (ставший впоследствии знаменитым Юрием Петровичем Любимовым), Юра Алексеев-Месхиев (сын опереточной актрисы и племянник знаменитой провинциальной актрисы Варвары Алексеевой-Месхиевой), Исай Спектор и другие.

Конечно, с новыми ребятами мы часто общались и тоже ходили в «Националь». Но однажды Галина Григорьевна Коган (та самая «грозная» зав. учебной частью) пригласила меня на разговор:

– Нина, я должна тебе сказать: ты часто общаешься с ребятами, вы вместе ходите на занятия, репетируете... Я хочу, чтобы ты знала: есть человек, которому ты очень нравишься. Я тебе больше скажу – он в тебя влюблен.

– Кто он?

– Только ты меня, пожалуйста, не выдавай. Это Исай Спектор.

Однако тот разговор я довольно быстро «замяла»: дескать, «замуж не тороплюсь», «надо подумать», «должна получше приглядеться»... И, признаться, не придавала большого значения: как



В Школу при Театре Вахтангова Исай Спектор перешел в 1936 году из закрывшегося Второго МХАТа. Позже он станет директором театра



влюбился, так и разлюбит. Но, видимо, и Исай отнесся к этому с пониманием: в компаниях мы продолжали общаться, но никаких «намеков» и обид с его стороны не последовало. Он был удивительно легкий, открытый человек.

А потом за мной стал ухаживать Юра Алексеев-Месхиев. И теперь уже Исай вызвался помочь своему другу.



Однажды он буквально наскочил на меня в коридоре, отвел в сторонку и говорит:

– Нина, как хорошо, что я тебя встретил!

– Что такое?

– Да ты понимаешь, тут такое дело... Юрка приезжает сегодня (он действительно надолго уезжал) – и мы хотим устроить праздничный обед.

– Конечно, устраивайте...

– Только без тебя мы никак не сможем.

– Это еще почему?

– Ну ты же понимаешь, он ради тебя это делает. Надеется на твой ответ...

Я взмолилась:

– Исай, умоляю, придумай что-нибудь. Я никак не смогу присутствовать на этом обеде.

– Но ведь он скучал, надеялся... Сейчас он придет.

Деваться было некуда, пришлось сознаваться:

– Понимаешь, – сказала я на ходу, – я вышла замуж.

– За кого?

– За Голубенцева.

Интонацию Исая передать невозможно. В ней было и удивление, и насмешка, и досада от того, что я уже сделала свой выбор.

– Идиотка! За этого старика! – воскликнул он. – На черта он тебе нужен!

Но я уже не слушала и старалась скорее выйти на улицу, чтобы не столкнуться с Юрой.

Александр Голубенцев был замечательным композитором и заведовал в те годы музыкальной частью Театра Вахтангова. Такого образованного, начитанного, блестящего человека я до тех пор не встречала. Из дворянской семьи. Был студентом физмата Петроградского университета, но не закончил в связи с начавшейся революцией, учился на сценических курсах Мейерхольда, в консерватории



у самого Глазунова. Знал немецкий, французский, учил итальянский. А еще увлекался парусным спортом. Он действительно был старше меня на двадцать с лишним лет. Но наш роман начался внезапно: пока Юра был в отъезде, Голубенцев стал активно ухаживать за мной. Помнится, мы бродили по ночной Москве и бесконечно говорили... Рядом с ним хотелось больше читать, больше знать – хотелось стать лучше. Часами я расспрашивала его о музыке (до сих пор уверена, что музыка – мое нереализованное призвание) и, конечно, с упоением слушала.

Но однажды он сказал:

– Нина, мы должны узаконить наши отношения.

– Как «узаконить»?

– Обыкновенно. Нам нельзя друг без друга.

И почему-то его мольба на меня повлияла: мы быстро поставили штампы в паспортах, решив сделать это нашей любовной тайной, – не удивительно, что многие об этом так и не знали.

Была ли я влюблена? Была. До невозможности. И думала только о том, смогу ли ему соответствовать. А поскольку мне очень хотелось стать примерной женой, то я стала вести себя жертвенным образом. Например, однажды пошла в институт Певзнера, чтобы научиться готовить диетические блюда, потому что у Голубенцева была язва. Но постепенно, после свадьбы, он ко мне охладел, что особенно проявилось в годы войны. Но это уже совершенно особый разговор... В 1942 году у нас родилась дочь Наташа.



ВОЙНА

Бомба попала в театр

Когда по радио Молотов объявил о начале войны, никакого страха я не испытала, как и большинство моих сверстников. Советская пропаганда делала свое дело, и мы, во-первых, были уверены, что война продлится не больше трех дней, враг будет разбит еще на подходе к границе, а во-вторых, смотрели на все романтически: мы понятия не имели о том, какие ужасы ждут нашу страну.

Но идут дни, а радио сообщает, что немцы берут один город за другим, постепенно пробираясь вглубь страны. И вот уже наши ребята записываются на фронт, а старшекурсники отправляются под Москву рыть окопы.

У нас в Замоскворечье я вдруг увидела, что здание Мосгаза обнесено огромными стропилами, которые покрыты полотнищами, изображающими лес. Говорили, что фашисты при бомбардировке будут целиться в стратегически важные объекты. И будто бы вражеские самолеты уже несколько раз появлялись в небе, но бомбардировок не было, разве что трассирующие красно-зеленые ракеты то и дело вспыхивали над городом, окрашивая небо в праздничные цвета. Несмотря ни на что театр продолжал свою работу, и вечером после репетиций некоторые артисты уезжали на дачу, ведь в мае они арендовали свои домики на летний сезон. Я тоже на дачу ездила (у нас с Голубенцевым был отдельный участок), но однажды



«С началом войны оставаться в Москве было опасно. К осени 1941 года все ведущие театры были эвакуированы»



ночью мне сделалось страшно. Я вышла на улицу и вдалеке увидела зарево: это в Москве горели дома, на которые фашисты сбросили зажигалки. На следующий день в Театре Вахтангова были организованы ночные дежурства: за зажигалками следили на крыше мужчины, а женщины (в том числе и я) должны были при бомбежке провожать местных жителей в бомбоубежище, предотвращать панику, а в случае, если у кого-то начнется истерика, то давать успокоительное. Но бомбежки, к счастью, не начинались. И вдруг 23 июля 1941 года, когда мы в очередной раз укрылись в убежище, бабахнуло совсем близко, причем с такой силой, что все кругом закричали. Началась паника. Женщины, старики, дети... Кстати, спустя



*Таким увидели москвичи Театр Вахтангова
наутро после бомбежки*



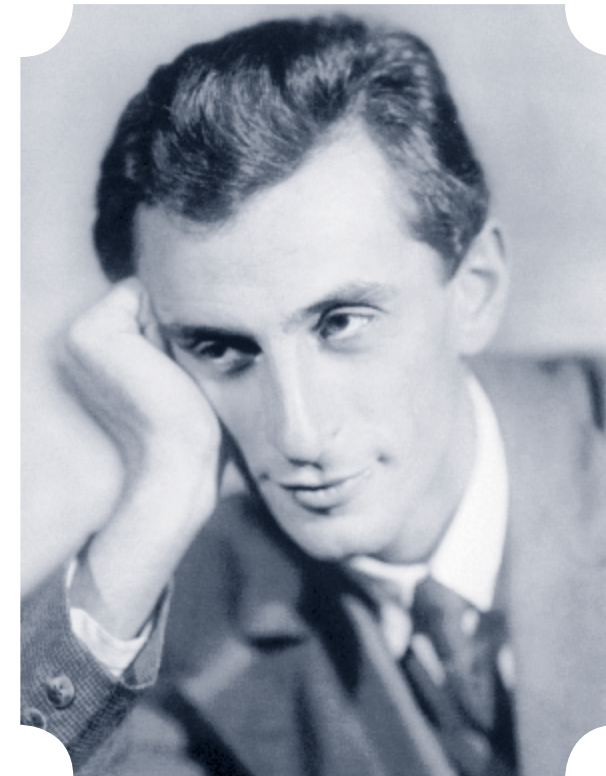
годы я узнала, что среди них был и семилетний Слава Шалевич, который прятался в укрытии с мамой, — ему запомнился тот день. Я стала на ходу раздавать успокоительное, но никто ничего не брал. И, не поняв толком, что произошло, выскочила на улицу. Я подняла глаза и увидела, что левой части Театра Вахтангова нет. Над улицей висят одни стропила. И под ними стоит старая женщина с распущенными волосами и проклинает театр:

— Бог знает, кого покарать!

Я в ужасе замерла. И вдруг вспомнила, что в комнате отдыха оставила на столе маджонг (игру в кости) и в эту трагическую минуту думала только об одном: «Как же я без игры теперь останусь?» Не глядя ни на кого, стала карабкаться по вывороченным кирпичам и бетонным плитам. Снизу мне кричали:

— Идиотка, куда ты лезешь!

И только когда уже спустилась со своей игрой, я стала понимать весь ужас происходящего. Люди говорили, что от бомбы погиб Василий Куза.



*Василий Куза погиб в стенах своего родного
театра от разорвавшейся бомбы*



Сегодня имя Василия Кузы (1902–1941) несправедливо забыто, хотя с середины 1920-х он был ведущим актером Театра Вахтангова. Среди его лучших ролей — Калаф в «Принцессе Турандот», Годун в «Разломе»,

Бродский в «Интервенции». С 1924 работал помощником, а потом и заместителем директора по художественной части. Причем он настолько был предан театру, что когда перед войной выяснилось, что Куза

является прямым наследником румынского короля и должен ехать в Румынию занимать свой престол, он отказался, поскольку дороже Театра Вахтангова у него не было ничего.



Не узнала своего ребенка

...Каждый день мы собирались в уцелевшей части театра. Творческая жизнь продолжалась, и еще не было полной разрухи. Например, ночевать я ездила на дачу и оставалась там, если не было репетиций. Но 14 ноября 1941 года Голубенцев прислал мне записку: «Срочно возвращайся, театр выезжает в эвакуацию, возьми вещи».

Я схватила чемодан – поехала в Москву. Голубенцев встретил меня, и тут по его лицу я поняла, что сделала что-то не то.

– А где вещи? – спросил он.

– Да вот же, чемоданчик.

– И это все?!

Дома расстелили парус (Голубенцев увлекался парусным спортом), побросали туда все, что было под рукой, поскольку, уезжая с дачи, я не взяла даже одеяла. В этом – опять мой характер. «Какая еще эвакуация? – злилась я. – Все и так обойдется».

Но когда мы прибыли на вокзал, и я увидела испуганную толпу, которая не знает, подадут ли поезд и если да, то на какой путь, – поняла, наконец, в каком ужасном положении мы находимся. Говорили, что это последняя возможность уехать из Москвы и что больше поездов на Омск не будет. Но самая страшная новость заключалась в том, что фашисты уже подступают к Москве. Поэтому едва состав показался вдали, пассажиры вскочили, схватили свои пожитки и наперерез бросились к перрону. Казалось, они готовы были задавить друг друга, лишь бы занять место в вагоне. Однако в этот момент началась бомбежка – все упали наземь, а едва бомбежка закончилась, стали снова осаждать поезд, но уже спокойнее. Горе объединяет людей.

Ехали несколько дней в жуткой тесноте, спальных мест не хватало. И хотя в театре было объявлено, что брать с собой можно



только самое необходимое, вахтанговцы погрузили в поезд огромные тюки, тяжеленные свертки. Толчанов, например, сквозь давку и толпу, протасил в вагон напольные часы, поскольку за много лет собрал замечательную коллекцию, расстаться с которой, понятно, не мог. И никто его не осуждал. Такого единения я не помню в мирное время. Это была, безусловно, одна семья, когда все конфликты и недомолвки остались там, в довоенной Москве.

В Омске нас разместили в школьном спортзале. Все были рядом – впритык друг к другу. Все на виду, скрыться некуда. А я с мужем постоянно конфликтовала: то ли он чего-то хотел, то ли я капризничала, но отношения наши были далеки от идиллических. Эти сцены то и дело наблюдал Сергей Вахтангов – сын Евгения Багратионовича. И однажды, поймав удобный момент, он обратился ко мне:

– Ниночка, я научу вас, как надо реагировать. Допустим, муж чем-то недоволен. Не отвечайте тем же. Надо спокойно: «Что, Шура? Хорошо, Шура. Как скажешь, Шура».

Советом я воспользовалась.

...Постепенно из промозглого спортзала нас стали расселять по разным квартирам. Мне с Голубенцевым достался очень старый холодный нетопленный дом далеко от центра. И каждый день я ходила туда и назад по разбитой деревянной мостовой: одна доска на кирпиче, другая прогибается, третья под ногами трещит. И добраться, ни разу не споткнувшись, было невозможно. Однажды на этих мостках я встретила Цилюшу:

– Нина, ты на рынок?

– Да.

– Не можешь ли взять мое платье? Вдруг, удастся продать...

Я взяла, но на рынке у меня его украли, и, чтобы не расстраивать Цилюшу, я расплатилась с ней своими деньгами.

Вообще в военное время на рынок тащили все, что можно было продать или обменять. Однажды я понесла туда дореволюционный



фарфоровый чайник фабрики Кузнецова, и мои приятели пошли вместе со мной, чтобы помочь продать подороже.

Например, подходит покупатель:

– Девушка, а дорогой у вас чайник-то...

Но вдруг за его спиной появляется кто-либо из наших артистов и начинает рассуждать:

– Нет, ну для такого чайника это вполне нормальная цена... А знаете что, пожалуй, я куплю его.

Так мы набивали цену, потому что вся надежда была только на этот товар. И в результате какой-то человек его купил.

В Омске творческая жизнь Театра Вахтангова продолжалась.

Так и вижу очень холодную зиму, абсолютно нетопленный драматический театр и огромный репетиционный зал, окна которого замерзли с внутренней стороны. С утра в зале мы все, трясаясь от холода, репетировали очередной спектакль, потом бежали вниз в подвальное помещение, где, простояв в огромной очереди, получая от не очень любезных подавальщиц полагающуюся миску перловой каши, называемую нашими остряками шрапнелью, и, не наевшись ею, подымались уже наверх – гримироваться к очередному спектаклю. Ни о каком отдыхе не могло быть и речи.

И несмотря на это, после вечерних спектаклей (а они тогда были длинные, с двумя антрактами) все «дружно» возвращались в этот промерзший зал на очередное обсуждение. Сегодня такое даже представить невозможно. А в ту пору дискуссии проходили бурные, ведь в театре работали четыре прославленных, никак друг на друга не похожих режиссера – Борис Захава, Рубен Симонов, Николай Охлопков и Алексей Дикий.

Охлопков, например, ставил «Сирано де Бержерака». И в центре спектакля была изумительная пара: Рубен Симонов и Цецилия Мансурова – Роксана, с ее живым и подвижным темпераментом, с ее остроумием – настоящим «изяществом ума». Не отпускали мансуровские интонации, и я потом не раз пыталась их повторить



Несмотря на голод и военный быт, вахтанговцы не теряли своей элегантности. Нина Архипова в Омске. 1942 год





Композитор Александр Голубенцев – первый муж Нины Архитовой. Омск. 1942 год



в какой-нибудь работе, но добиться такой легкости и вместе с тем глубины, поэтичности и простоты не получалось. Когда в спектакле «Много шума из ничего» она протягивала руки, обращаясь к залу и восклицала: «Мужа мне, мужа», – зал обрушивался аплодисментами.

В «Сирано» я играла сестру Беату, но на время вынуждена была оставить работу, поскольку ждала ребенка (к слову сказать, в эвакуации забеременели сразу пять наших артисток – настолько мы не боялись войны, были уверены, что победа скоро настанет). И когда на репетиции, будучи беременной, лихо прыгнула со стола, наши женщины закричали:

– Нинка, ты с ума сошла, что ты делаешь!

Но я вела себя так, словно и нет никакого живота. Старшие товарищи сами настояли на том, что мне пора посидеть в покое.



Наконец, в октябре 1942 года настала пора рожать. А поскольку муж мой был занят своим сочинительством, то сопровождать меня в роддом не стал, а попросил об этом свою дочь от первого брака (она была с нами) – Люлю. И мы в кромешной темноте пошли по облещенным доскам. Но вдруг я вспомнила, что мне врачи велели делать гимнастику. Я остановилась:

– Люля, погоди, а ведь гимнастику я и не делала! Давай, сделаю сейчас.

Она говорит:

– Ну, давай...

И вот я посреди улицы во тьме начинаю делать гимнастику. Люля умирает со смеху, а я продолжаю наклоняться, приседать, подпрыгивать...

Идем дальше.

– Люля, – говорю, – роды ведь не сразу начнутся. Наверное, неделя пройдет. Меня предупреждали, что в роддоме сперва поселиться надо и только через несколько дней все произойдет.

Но когда мы пришли, схватки тут же начались. Прежде я и не представляла себе, что рожать тяжело и больно. Просто не думала об этом. Но теперь завопила, как ненормальная – видимо, вспомнила свое детство, когда мне доставалось за оплошности:

– Мамочка, я больше не буду!

Думала, что происходит что-то страшное и теребила акушеров:

– Кто мне поможет, почему такая боль?

– Не кричи, все спят уже, – отвечали они и делали свое дело.

В ту пору в Омск были эвакуированы многие столичные учреждения, в том числе и Второй медицинский институт. И вот когда я кричала, к нам пришла врач этого института с целой группой студентов. Я, завидев их, сказала:

– Девочки, не рожайте, никогда не рожайте! Если бы я знала, что это такая боль, то ни за что бы на это не шла...



Они дружно захохотали, но мне было не до смеха – я закричала от вновь подступившей боли, а врач абсолютно хладнокровно прокомментировала:

– Это начинается второй период родов, продолжаем, – и что-то им показывала.

То есть я была как экспонат. Под утро родила.

А поскольку в Омске было много казахов, накануне вечером Александр Александрович предупреждал меня:

– Смотри внимательно, чтобы не подсунули тебе чужого ребенка.

И когда через некоторое время мне принесли младенца, я сказала:

– Нет-нет, это не мой ребенок, нет, я не беру его.

– Как не ваш? Вот же бирочка висит.

– Ну и что...

– И на ребенке тот же номер.

– Это я не знаю. Может, вы все перепутали. Заберите, и не приносите больше. Я не могла родить девочку с черными волосами и раскосыми глазами...

Санитарки растерялись и унесли.

Через пять минут в палату входит главный врач:

– Где эта мать, которая не узнала своего ребенка? Где такая есть, покажите мне.

И подходит ко мне.

– Как это вы могли не узнать? Вы должны чувствовать, что это ваше. Причем тут цвет волос? Муж-то ваш темненький? А глаза вот такие, потому что роды трудные были, и пока вы кричали, девочка себе лицо натерла.

Я написала мужу записку: «Родила царица в ночь / Не то сына, не то дочь; / Не мышонка, не лягушку, / А неведому зверюшку».

Несмотря на военное время, рожениц в роддоме было достаточно. И все эти местные женщины на следующий день после родов не подпускали к себе врачей, не хотели, чтобы кто-нибудь к ним прикасался, да еще и студентов обучал. А мединститут обрадовался, что



все это можно сделать на мне. Как сейчас помню: я лежу, накрывшись простыней и уставившись в потолок, а врач спрашивает у студента:

– Иванов, расскажи, какие признаки второго послеродового периода?

Он заикался, ничего не знал, но что-то бубнил.

– Прекрати, – говорю. – Выучи лучше.

В войну ни у кого не было молока, а у меня почему-то было выше нормы. Я кормила свою Наташеньку (Наталья Голубенцева – актриса; ее голосом на протяжении многих десятилетий говорит Степашка в программе «Спокойной ночи, малыши». – В. Б.) и при этом подкармливала и еще нескольких младенцев, родившихся в это время. Но молоко все равно оставалось. Тогда я начала его сцеживать, чтобы сдавать в консультацию – другим детям, получая за это сметану. А иногда я делала лепешки и добавляла туда молоко. И угостила однажды своего товарища, который потерял карточки. Так надо же мне было обязательно ему это сказать! В ответ услышала одну ругань.

Ему, бедняге, плохо стало. Он потом кидал в меня эти лепешки.

На ночные спектакли Наташу я таскала с собой. Мне говорили:

– Нина, играй быстрее, она есть хочет.

И я в промежутке между своими эпизодами мчалась в гримерку и кормила грудью. Потом ночью с младенцем возвращалась по жутким мостовым. Муж ни разу меня и не встретил.



С дочкой Нина Архипова не разлучалась даже во время спектаклей: Наташа росла за кулисами





Опоздала на спектакль

В 1943 году, незадолго до нашего возвращения в Москву, на омской сцене вышел спектакль «Синий платочек», в котором я играла Катю – главную героиню, которая отправляет на фронт посылку с этим самым синим платочком. Солдат, получив подарок, решает отыскать свою благодетельницу и в конце концов находит.

Сюжет, конечно, незатейливый, наивный... И, как легко догадаться, напоминает знаменитую песню Клавдии Шульженко, но во время войны такие постановки ценились превыше всего, и потому часто появлялись в афише вне плана – как дополнительные спектакли для солдат, уходивших на фронт.

Однажды из-за такого, «внепланового» спектакля я едва не лишилась работы. Дело в том, что жила я далеко от театра, и, встретив на улице нашего артиста Виктора Кольцова, поинтересовалась у него:

- Завтра не будет «Синего платочка»?
- Нет, нет, Нина, точно не будет, – ответил он.

Телефона не было, и книжечек с расписанием спектаклей в войну не выпускали. Ну не будет и не будет – останусь дома.

Вдруг на следующий день прибегает мальчик с запиской:

- Нина, идет спектакль «Синий платочек».

Караул! Оставляю ребенка, бегу что есть мочи через весь город. А там ведь уже начало, люди в зале сидят. Прибежала и оказалось, что пока меня не было, они загримировали артистку Галину Коновалову и выпустили на сцену.

Появилась я – встала за кулисами, и с моего голоса Галя играла роль:

- Иди налево, теперь присядь. Посмотри наверх, – я руководила каждым движением, подсказывала текст. Потом перебежала в другую кулису и говорила оттуда.



К 1943 году Нина Архипова стала одной из ведущих артисток Театра Вахтангова, сыграв множество молодых героинь



А наутро, конечно, был художественный совет, на котором меня распекали по всем статьям и вклеили выговор за такое безалаберное отношение к театру. На том собрании мне находиться не полагалось, но я знаю, что Цилюша встала и сказала:

- Нет, не ей выговор надо давать, а мне как педагогу – за то, что так плохо ее воспитала...

И все же выговор был, но мою дальнейшую судьбу он не испортил. Даже в самое страшное военное время вахтанговцы оставались вахтанговцами со своим «аристократическим демократизмом», юмором, самоиронией и отношением к театру как к дому...



Мы буквально жили в театре, я бывала на всех репетициях, и когда уже в Москве по возвращении из Омска в работе над «Мадемуазель Нитуш» Целиковская поссорилась с Галиной Пашковой, то Рубен Симонов сказал, что ему это надоело и на роль Денизы он вводит Архипову, которая знает весь спектакль наизусть. Это была правда: я хорошо знала спектакль и ввелась на эту роль после трех-четырех репетиций.

Суровый добрый Захава

В школе при Театре Вахтангова существовало строгое правило: студент не должен был сниматься в кино. Твои съемки, работа где-то «на стороне» воспринимались как своего рода измена вахтанговским традициям, поскольку даже временный уход из этого коллектива был равносителен уходу из дома или семьи. Главным сторонником этой «учебной идеологии» был, разумеется Борис Евгеньевич Захава – преданный ученик Вахтангова, многолетний ректор нашей школы, который был педагогом для всех – начиная с Щукина и Мансуровой и кончая юными мальчиками и девочками, которые каждый год вливались в наш коллектив.

Но я, разумеется, решив, что строгость Захавы распространяется на всех, но только не на меня, – согласилась приехать на «Мосфильм», когда меня пригласили на кинопробы. Очень хотелось сниматься в кино. Да к тому же огонь разгорался в душе: стало быть, меня, студентку четвертого курса, увидят на экране! Я уже играю в театре – играю крупные роли. На меня ходят. Спектакли пользуются успехом. Пора выходить на большой экран...

Поэтому, соглашаясь участвовать в кинопробах, я меньше всего думала о Щукинском училище: мол, как-нибудь обойдется. К тому же, начиналось лето и в ближайшие месяцы я была свободна.



«Мосфильм» поразил меня своим масштабом. Огромные коридоры, павильоны, цеха – не то что наш скромный театр на Арбате (до реконструкции он был значительно меньше). Ходят артисты и режиссеры, ассистенты возят тележки с декорациями, и все кругом такие красивые, элегантные, словно из какого-то другого, совершенно неземного мира. Мы еще не дошли до помещения, где проходили пробы, но я уже поклялся себе, что не расстанусь с «Мосфильмом»: воображала себя звездой киноэкрана – расшибуй, а сниматься буду.

Но все прошло гораздо легче. Оказалось, что режиссер бывал в Театре Вахтангова и предлагает мне роль именно потому, что видел мои работы в спектаклях.

– Сценарий интереснейший, – стал завлекать он. – Я хочу, чтобы вы сыграли учительницу.

– С удовольствием!

– Только есть одна особенность: эта учительница, настоящая коммунистка, отправляется на Север и проводит воспитательную работу среди чукчей. Вы на Север поехать сможете?

– Конечно, но только есть одна проблема, – ответила я (как ни странно в ту минуту я совершенно не думала о Щукинском училище, проблема заключалась в другом). – Я лечу сейчас зуб: там сложная ситуация, и в районной поликлинике братья за это не хотят. Надо ехать в больницу, а там моим лечением займутся только по записи, поэтому, боюсь, мы потеряем много времени.

– Не беда, – сказал режиссер. – У нас есть очень хороший врач, я позвоню ему.

И действительно, он устроил меня по высшему разряду – через пару дней о своем зубе я напрочь забыла. Его вылечили за счет «Мосфильма».

– Это будет первый художественный фильм, который мы снимаем на севере, – сказал режиссер. – Я хочу, чтобы все было достоверно, по-настоящему. Поэтому снаряжаем сейчас небольшую экспедицию:



нужно, чтобы вы съездили, пожили с чукчами, присмотрелись... Дорога долгая, но зато когда бы еще вы побывали на Севере!

Добирались действительно несколько дней. Сначала самолетом, потом поездом и, наконец, машиной. Чукчи оказались народом гостеприимным: катали меня на собаках, угощали обедом в юрте, через переводчика рассказывали о своих обычаях – в общем, впечатлений было много. И я с удовольствием вернулась в Москву – готовиться к съемкам.

Режиссер держался приветливо:

– Я думаю приступить к съемкам в самое ближайшее время.

– Хорошо.

– Приходите завтра – на примерку. И еще не забудьте принести паспорт и разрешение.

– Какое разрешение?

– Ну как же, раз вы студентка, то полагается взять разрешение в училище. Я же говорил при первой встрече.

А я, как всегда, пропустила это мимо ушей.

– Хорошо, я возьму.

И напрямик направилась в училище – к Борису Евгеньевичу. Но поскольку были каникулы, мне сказали, что он на даче:

– Если срочный вопрос, то поезжай прямо туда.

Так я и сделала. Приезжаю. Захава увидел меня издали – обрадовался, вышел к калитке:

– О, Ниночка, молодец, что приехала, проходи...

– У меня очень важный вопрос, – начала я с порога.

– Потом, потом, потом. Сейчас будем обедать, – сказал он, провожая меня к террасе.

В училище таким приветливым он никогда не бывал. Поэтому, воспользовавшись его расположением, я решила сразу взять быка за рога:



– Понимаете, меня пригласили в кино, но – смешное дело! – съемки не начинаются, поскольку, говорят, нужно взять разрешение. Я за ним и приехала.

Захава, который сразу, конечно, догадался о цели моего визита, моментально перевел разговор на другую тему, ответив скороговоркой:

– Нет, нет, у нас до окончания училища сниматься нельзя... Пойдем лучше я тебе свою клумбу покажу. У меня есть редкие цветы...

И пока он вел меня по тропинке, старательно заговаривая зубы, я поняла, что уеду отсюда ни с чем: строгость Бориса Евгеньевича не миф и спорить тут бесполезно.

В слезах застала меня и супруга Захавы:

– Боря, а почему Нина плачет?

– Да вот, понимаешь ли, ее в самый неподходящий момент пригласили сниматься в кино.

– Ну так отпусти.

– А как же театр? Нине доверили серьезные роли, она много играет и вместо съемок должна готовиться к экзаменам.

И сколько бы я ни рыдала, сколько бы жена ни уговаривала Бориса Евгеньевича – все было бесполезно.

– Меня ведь уже утвердили на роль. С меня сняли мерки и готовят одежду. Я ездила на Север и выучила сценарий, – глотая слезы, твердила я.

Но Захава был неумолим:

– Вы должны были знать, что мы никого не отпускаем.

Так и закончилась эта история: от съемок я вынуждена была отказаться.



«Борис Захава так и не отпустил меня на съемки в кино»





Сожгла паспорт

Наши занятия в школе, которая теперь называлась Училищем имени Щукина, возобновились в 1944 году, и к нам на курс вернулась моя близкая подруга Елена Измайлова-Турок, которая не была с нами в Омске, поскольку еще в 1941 году взяла академический отпуск, уехав на съемки «Пятнадцатилетнего капитана» (там ее и застала война).

Красавица высокого роста с совершенно необычайной улыбкой. На ее фоне я казалась маленькой, жалкой и совсем невидной... Но главное, что более тесной дружбы, как между мной и ею, представить было невозможно. Мне казалось порой, что она взяла надо мной шефство, поскольку ее забота переходила все мыслимые границы. Например, однажды она достала мешок картошки и потащила его на себе в мою квартиру. И сколько бы я ни кричала ей: «Ну подожди, дай я сама», — она и слушать меня не хотела:

— Отстань, — властно отвечала Ляля (так ее называли в ближнем кругу) и несла эту тяжесть дальше.

Зимой я отдала ей свою шубу, потому что, мне казалось, на ее статной фигуре эта шуба будет лучше смотреться (мы думали о фасонах, несмотря на войну). Короче говоря, по возвращении в Москву мы встретились, и Ляля мне говорит:

— Нина, что мне делать? У меня забрали паспорт и перечеркнули страницы, поскольку там написано, что я немка. В 16 лет я действительно указала эту национальность — по маме, а писать еврейка мне не хотелось, ведь когда арестовали отца, то эта еврейская графа вышла ему боком. Да и когда получала паспорт, отношения с Германией были просто замечательные.

Я говорю:

— Идем к Горюнову.



Елена Измайлова была не только первоклассной актрисой, но и одной из самых красивых женщин старой Москвы



Анатолий Иосифович Горюнов входил в худсовет театра и был удивительно отзывчивым человеком. При этом в нем сохранялся юношеский задор. Например, в тот момент, когда мы переодевались, он мог широко распахнуть дверь в нашу общую гримерку. Девушки хватали вещи, чтобы прикрыться, а он «извинялся»:

— Простите, я ошибся дверью.

Так он развлекался.

Когда мы пришли к нему насчет паспорта, он тут же схватился за телефон — стал звонить в партком, потом еще какому-то начальству. Поднялась шумиха, и Измайлову оставили в покое. Решено было выдать ей паспорт, указав папину национальность.



А Лялиной маме не повезло. В квартире, где она проживала с маленьким сыном, соседи сообщили участковому, что, дескать, национальность – немцы. И тогда их в два счета депортировали в Среднюю Азию*.

– Ты знаешь, я, когда ехала на съемки, то останавливалась в том поселении у мамы, – говорит мне Ляля. – Условия просто нечеловеческие: люди в бараках живут, все вповалку на земляном полу, всюду грязь, вши, нет элементарных удобств. И у меня созрел план тайно забрать ее оттуда, ведь иначе мама и брат погибнут. Я куплю им билеты и попрошу, чтобы она в один из тюков положила самые ненужные вещи и перевязала ярким платком. А ночью, когда все уснут, я незаметно сброшу его с поезда и наутро закричу, что украли у нас тюк, в котором лежал паспорт.

Я ее поддержала. Так она и сделала, причем ей повезло: первой пропажу заметила соседка и забеспокоилась:

– А где ваш тюк?

И тогда уже Ляля разыграла сцену, стараясь в этих «предлагаемых обстоятельствах» выглядеть максимально правдиво:

– Да вот же он, – и показывает в сторону полки, где тюка уже нет. – Ой, погодите, он ведь тут был. А где тюк? Может, кто-то переставил?

Дальше она разыграла, как одолевает ее волнение. Поднялась суматоха – все стали проверять свои вещи, но при этом Ляля завоевала сочувствие всего вагона, так что на ближайшей станций было много свидетелей, которые вместе с ней пошли в милицию и подтвердили: паспорт и тюк украли. Были расспросы:

– Как фамилия?

– Измайлова.

– С кем едете?

– С мамой и братом. У мамы паспорт украли, но задерживаться мы не можем, поскольку я в кино снимаюсь.

Это имело большое значение. И поэтому придираться не стали: маме выписали справку (наверное, на другое имя), а в Москве в свою



коммуналку она решила не возвращаться, чтобы не попасться на глаза соседям. В итоге, была спасена. Видимо, не очень-то ее и искали в том поселении, откуда она сбежала. Пропала и пропала. Идет война – до того ли!

И вот, провернув всю эту историю, Ляля мне говорит:

– Ты знаешь, а ведь паспорт-то я не выбросила. Он был со мной все это время.

Я удивилась:

– Ты сумасшедшая. Получается, ты с ним жила?

– Да.

– А если обыск?

– Я и не подумала. Давай с тобой этот вопрос решим. Паспорт так у меня в вещах и валялся.

В результате она привезла его ко мне домой. У меня был большой железный стол, и мы решили паспорт сжечь, чтобы не осталось и следа.

– Сжечь? Нина, ты уверена? Может быть, он еще пригодится маме?

Я ответила:

– Никогда. После этой войны ничего не останется.

И мы открыли окна – устроили небольшой пожар.

Маму, к счастью, не вычислили. Получается, что в поселении никто не понял, куда она пропала. Так и проскочило.

* Поселение, о котором идет речь, не являлось ГУЛАГом. Дело в том, что с началом Великой Отечественной войны Советское правительство решило уничтожить ареал расселения немцев на территории СССР и, создав специальные

населенные пункты в Средней Азии, Казахстане и Сибири, переселило туда обрусевших немцев. К осени 1941 г. было депортировано уже 446 тыс. человек. Процесс продолжался и в последующие годы. В тех же поселениях с начала 1942 г.

мужчины в возрасте от 15 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет, у которых дети старше 3 лет, были мобилизованы в так называемые рабочие колонны, позже получившие название трудовой армии.



«Здесь ты больше не живешь»

Тот «пожар» был не в моей замоскворецкой квартире, а на Арбатской площади, где я жила у Голубенцева. Дело в том, что, вернувшись из эвакуации в Москву, я обнаружила в моих двух комнатах папиного брата – дядю Шуру, который прежде был очень искренним, добрым и скромным человеком. Но тут он мне говорит:

– Нина, ты знаешь, я женился, мы будем здесь жить, а ты... Ты уж извини, но ты не прописана.

– Как не прописана? Вон вещи мои, мой рояль...

– Ты выписана...

Я была поражена. В театре мне все сказали:

– Нельзя молчать – подавай в суд.

Я мало о чем сожалею в жизни, но тот период был для меня болезненный. Не представляла, как можно судиться с дядей Шурой, которого я так любила! Но вот суд начался. Пришел дядя Шура и говорит, что он фронтовик (кроме того, сражался еще и на Финской войне), что он женился и они ждут ребенка, поэтому, дескать, на правах близкого родственника решил поселиться у родного брата.

Как ни странно, суд учел эти «смягчающие» обстоятельства и постановил: одну комнату отдать Александру Матвеевичу, а вторую – Нине Архиповой. Но жить у него под боком в вечной вражде я, понятно, не хотела, ведь, к тому же, его супруга вышвырнула в коридор швейную машинку и изумительный портрет моей мамы. Пропали и многие дорогие мне вещи, поэтому я решила переезжать к мужу на Арбатскую площадь, а в этой комнате мы поселили дочь Голубенцева Люлю. Я с ней как бы менялась...

С нашим домом на Арбатской площади (он не сохранился) вспоминается еще и такая история. Первого Мая, когда наш театр шел на демонстрацию, я махала артистам из окна, и некоторые из них



*Нина Архипова, Александр Голубенцев
и их дочь Наташа*





поднимались ко мне и устраивали посиделки, а после демонстрации к нам присоединялись и другие артисты. Лично я на Красную площадь не шла, поскольку считала, что в день рождения имею право остаться дома.

Но однажды случился страшный скандал, потому что ко мне пришла едва ли не вся труппа и в праздничной колонне осталось лишь несколько человек. Когда на Красной площади голос диктора объявил, что несут транспарант артисты Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, — видно было лишь нескольких человек. Но голос продолжал:

— Мы любим этих артистов, которые своим трудовым подвигом завоевали славу театру, расположенному в самом сердце Москвы — на Арбате.

А артисты сидели у меня.

На следующий день к начальству вызвали секретаря партийной организации нашего театра, моего большого друга Жору Иванова. И он вынужден был сознаться, что, конечно, часть артистов заглянула поздравить Нину Архипову, но это была наименьшая часть, потому что остальные остались дома, ибо весна выдалась холодной, и многие болеют, а вечером им играть спектакль — побоялись еще больше простудиться. В общем, что-то сочинял, но Театру Вахтангова запретили на время принимать участие в подобных торжествах, а Жоре вклеили выговор.

...Моя жизнь с Голубенцевым была далека от идеала. Еще в Омске, будучи беременной, я увидела, что он целуется с какой-то женщиной, поэтому хотела броситься под поезд, но муж догнал меня, удержал от трагедии. А потом мы вроде бы даже помирились, мне казалось, что я снова влюблена, но как только вернулись в Москву, все как рукой сняло. Я ему сказала честно:

— Прежних чувств у меня больше нет, но я буду жить вместе ради Наташи.



И мы жили... вплоть до 1951 года, пока наш брак окончательно не распался, о чем расскажу отдельно.

Вообще же благодаря Голубенцеву я увидела совсем другую жизнь — у него было много друзей, с которыми он меня перезнакомил. Так, вдруг неожиданно в моей жизни появился Дмитрий Дмитриевич Шостакович, поскольку муж учился с ним в консерватории на одном курсе. Но тут важна предыстория...

«Мы сейчас Шостаковича будем играть»

Когда я была школьницей, ко мне в гости заходили подружки. Сидели за рояль:

— Мы сейчас Шостаковича будем играть.

И лупили по клавишам что есть мочи. Мне эти шутки не нравились, и я уводила их в сторону:

— Не портите мне инструмент...

В ту пору я часто бегала на лекции по вопросам литературы и искусства. И однажды попала на выступление Иван Ивановича Соллертинского о Шостаковиче. Критик он был великолепный — острый, всезнающий, правда, при всех своих достоинствах ни одной буквы не произносил правильно. А потом так сложилось, что пришла я и на концерт Ираклия Андроникова, на котором тот блестяще показывал известных людей, включая Соллертинского. Зал умирал со смеху. Вместе с ним умирала и я.

Началась война...

Весной 1942 года в эвакуации мы узнали, что свою Ленинградскую симфонию Дмитрий Дмитриевич будет играть в Новосибирске. И Голубенцев сказал мне:

— Надо ехать.



С первых дней войны Дмитрий Шостакович просился в действующую армию. Трижды писал заявление, но, получив отказ, стал бойцом пожарной команды. Снимок сделан на крыше Ленинградской консерватории в 1941 году

О том, как мы добирались, как мерзли на вокзалах и полустанках, можно написать отдельную книгу. Но жизнь показала, что каким бы чудовищным ни был наш быт, всегда запоминается другое...

На концерте Шостаковича зал был полон. Люди сидели в проходах, стояли вдоль стен (вот вам и война). Лишний билет спрашивали за квартал до концертного зала, а поскольку денег ни у кого не было, то предлагали билет на что-нибудь обменять.

Со вступительным словом должен был выступить Соллертинский. Но как только он произнес несколько фраз, моя диафрагма стала истерично подпрыгивать. Голубенцев строго на меня посмотрел. Я кусала губы до крови, чтоб не рассмеяться. Но это не могло. Голубенцев повернулся ко мне и зловеще прошептал:

— Выйди.

Я вышла и стояла в коридоре до тех пор, пока Дмитрий Дмитриевич не сел за инструмент.

Публика была самой разнообразной. На концерт пришли моряки, вооруженные пехотинцы, одетые в фуфайки бойцы ПВО, исхудавшие завсегдатаи филармонии. Симфония длилась часа полтора. Многие утирали слезы, а по окончании... зал продолжал молчать. Было ощущение, что зал оцепенел. И вдруг раздались овации, публика вскочила со своих мест, закричала браво. Это было незабываемо.

А потом прошли годы, и мы с Шостаковичем встретились уже в подмосковном Доме творчества композиторов, где я жила с шестилетней дочкой Наташей. Как сейчас помню: Дмитрий Дмитриевич появлялся на пороге столовой и непременно приглушал радио, поскольку бравурная музыка ему мешала. Наверное, этот жест разделяли не все композиторы. Вообще отношения между ними гладкими не назовешь. Например, Исаак Дунаевский часто угощал детей конфетами, а однажды от какого-то мальчика услышал:

— А папа говорит, что вы пишете юрунду.

Мальчик, разумеется, не понимал смысла сказанного. Дунаевский ответил сдержанно:

— Какая смешная история...

Впрочем, это не мешало им жить по сути одной большой семьей, ведь все композиторские дети гуляли вместе.

Однажды Шостакович позвонил мне среди дня:

— Нина, я должен кое-что вам рассказать, только дайте слово, что не будете ни ругать Наташу, ни наказывать.

Я говорю:



– Что случилось?

– Не надо «что случилось». Я прошу вас...

– Хорошо, – говорю я, понимая, что Наташа натворила нечто ужасное.

Оказывается, она вместе с другими детьми пошла туда, куда я ей запрещала, и там провалилась в яму с ледяной водой.

– Она упала, мы ее вытащили, – говорил Шостакович. – Не так уж глубоко было, но важно, что Наташа вся мокрая. И сейчас она у нас сохнет. Только, пожалуйста, сдержите слово – не ругайте.

Но все равно вечером я сказала ей, что огорчена этим поступком... Кстати, в Доме творчества Наташа была заметным ребенком. Днем спала в гамаке (врачи прописали сон на свежем воздухе, у нее обнаружили порок сердца), а вокруг нее собиралась стая собак и ждала, когда она проснется и пойдет с ними гулять. А еще она ходила между столиками в столовой и собирала для них еду:

– Не будете есть, нет? Не выбрасывайте, – говорила она, с надеждой разглядывая тарелку. В итоге, обитатели прозвали ее святая Цецилия.

...Шостакович наверняка догадывался, что далеко не все композиторы воспринимают его однозначно. И компания вокруг него сложилась весьма скромная – четыре-пять человек. Они собирались – играли в преферанс и меня тоже звали.

Дмитрий Дмитриевич своим быстрым, чуть хрипловатым голосом предупреждал:

– Собираемся ровно в семь. И не опаздывайте ни на минуту, иначе не приходите...

При этом всем участникам игры выставялось жесткое условие:

– Как бы хороши ни были ваши дела в картах, будьте любезны ровно в одиннадцать оставить все, как есть, поскольку время для меня самое дорогое... Я не буду реагировать на то, что вы скажете: «Ой, ну тут еще три-четыре минуты». Нет. Мы прощаемся до завтра, поняли? На этих условиях приходите, и я буду вас ждать.



За картами он бывал молчалив, редко комментировал, но играл с азартом.

– Давайте, давайте, начали.

Никакой болтовни.

Вспоминается и еще один эпизод. Однажды я с Голубенцевым была в гостях у астрофизиков Алиханянов. Они редко приезжали в Москву, поскольку основное время проводили в горах недалеко от Армении, где возглавляли научную лабораторию. Вместе с ними работала и жена Шостаковича – Нина. И вот когда они все приезжали, то собирались в квартире Алиханянов, где был только холодильник и рояль. Спали супруги на какой-то кушетке, все было необорудованным, и некогда было этим заниматься. И в эту квартиру к ним в гости пришел Шостакович с женой, которая меня просто покорила. Красивая, элегантная! Он сидел, не сводя с нее глаз. И когда один из физиков сказал: «Дмитрий Дмитриевич, мы люди несчастные, мы не слышим музыку, вы бы исполнили что-то для нас», – он сел к инструменту и начал играть, но не для них, а скорее для нее (я это совершенно интуитивно почувствовала).

По этим коротким встречам у меня сложился образ Шостаковича. И каждый раз, когда я слушаю его, кроме преклонения, других чувств у меня нет.

Один из современников так описывал Шостаковича: «Это был худощавый молодой человек с налетом английского аристократизма в манерах. Его постоянное нервное

напряжение отразилось на его лице с аскетическими чертами, которые как-то не гармонировали с его подтянутой и легкой фигурой. Вежливый и обаятельный и в то же время

взвинченный и очень упрямый, Дмитрий всегда отгораживал себя от окружающего общества, пресекая любые контакты близкого общения с ним».



«Ваша фамилия Архипова?»

После возвращения из Омска в Москву я сыграла Денизу в «Мадемуазель Нитуш», и мне стали охотнее доверять новые роли. Когда Захава репетировал «Великого государя», то ввел меня на роль жены Ивана Грозного Марии Нагой в пару с Целиковской. А поскольку у нее опять произошел какой-то конфликт, то после нескольких спектаклей Нагую играла только я.

Были и другие работы. Например, в «Проклятом кафе» мне дали роль рано повзрослевшей девочки, и в одном из эпизодов Рубен Симонов попросил меня сесть на авансцене и произносить слова роли, переводя взгляд с левого софита на правый. Мне рассказывал режиссер Александр Белинский, который смотрел этот спектакль, что он плакал и что прослезился рядом сидящий Рубен Николаевич.

По сравнению с Омском в Москве было немного спокойнее. Во-первых, здесь все знакомо, а, во-вторых, нищеты чуть-чуть меньше – есть возможность подработать. Например, я участвовала в сборных концертах, объявляла номера. И Качалов мне говорил:

– Нина, слышишь, объявляют по радио, что наши войска освободили Севастополь. Выйди сейчас к микрофону, выдержи паузу и радостно скажи: «Только что получено срочное сообщение. При битве под Севастополем советские войска одержали очередную победу».

Я так и делала. Зал взрывался аплодисментами, после чего объявляла:

– А теперь Василий Иванович Качалов прочитает отрывок из романа Толстого «Воскресение».

И казалось, что отрывку радуются больше всего на свете.

В общем, работы было много (плюс к этому прошел на отлично наш выпускной спектакль по пьесе Гоцци «Счастливые нищие» в постановке Мансуровой). И на новогоднем капустнике – а Новый



*Роль Денизы в музыкальном спектакле «Мадемуазель Нитуш»
Нина Архипова сыграла в годы войны, заявив о себе как о яркой
комедийной актрисе*





год в ту пору вахтанговцы встречали только в театре – я вижу такую юмористическую сценку! Идет худсовет. Режиссер распределяет роли. У него спрашивают:

– Кто сыграет Кручинину?

– Ну, посмотрите, там в распределении все написано.

Смотрят в бумаги – читают:

– Архипова.

– У нас еще такой вопрос: заболела актриса, и требуется срочный ввод на роль Нины в «Маскарад».

– Приказ уже выпущен, ввод состоялся.

– Но скажите, кто будет играть?

Опять смотрят в бумаги.

– Архипова.

Худсовет продолжает:

– А вот еще такая проблема. Мы приступаем к работе над пьесой «Первые радости» и давно ищем артиста на роль Кирилла Извекова.

– Зачем искать? – отвечает режиссер. – Архипова замечательно его сыграет.

Вообще это были лучшие встречи Нового года в моей жизни: собирався вместе весь коллектив, включая студентов, а в театр приходило множество именитых гостей, которые с удовольствием с нами танцевали. И какими бы голодными ни были времена, здесь все забывалось. Например, мы с Николаем Гриценко придумали такой номер для капустника: я садилась за рояль и играла джаз, а он пел на тарабарском языке о своей несчастной любви. Языка он, конечно, не знал, но делал это так виртуозно, что потом к нему подходили и восхищались:

– Коля, когда ты успел выучить английский!

...В 1945 году в Театре Вахтангова вышла премьера – спектакль по пьесе Гладкова «Новогодняя ночь», ставил которую Борис Бабочкин. Вскоре, правда, официальная критика обвинила спектакль в безыдейности (хотя была и другая причина: сюжет якобы



напоминал какой-то английский роман), и его быстро сняли с репертуара. Но дело не в этом. Репетиции Бабочкина заметно отличались от репетиций других режиссеров. Ведь и Захава, и Симонов, и Охлопков вели себя преимущественно благородно, в чем угадывалась особая театральная культура. В отличие от них, Бабочкин был болезненно резким, постоянно чем-то недовольным. К сложностям его характера добавлялось то, что перед войной он покинул пост худрука БДТ, но ничего столь же весомого ему больше не предлагали.

В «Новогодней ночи» он занял в маленьких ролях Мансурову и Алексееву, и когда те просили разъяснить смысл какой-либо сцены, Бабочкин отмахивался:

– Ой, зачем ты ко мне пристаешь, ты народная артистка, я народный артист, вот и делай сама! А от меня ты чего хочешь!

И в ту же минуту обращался ко мне:

– Ниночка, давай!

Я репетировала центральную роль.

Мы проходили очередной эпизод. Настроение Бабочкина улучшалось. На премьере от моей игры зал хохотал до упаду. Причем много лет спустя оказалось, что на том спектакле был и Георгий Менглет, который тоже умирал от смеха. Но в последующий раз такого гомерического хохота уже не было: спектакль прошел спокойно. И когда, уже будучи замужем за Жориком, я поделилась с ним этим наблюдением, он сходу назвал мне причину:

– Дело в том, что когда ты репетировала, ты ничего не фиксировала. Бабочкин был тобой доволен, и ты с полной отдачей все делала. Но актер должен все свои наработки складывать в копилку – тогда на следующем спектакле ты могла бы вновь вызвать хохот зрительного зала – это называется мастерство.

Как жаль, что этот совет я услышала лишь много лет спустя, когда и сама уже могла анализировать нюансы актерской игры. Если бы Жорик подошел ко мне тогда, после премьеры, все было бы по-другому... Но у нас с ним в Театре Вахтангова



Георгий Менглет в роли Незнамова. «Без вины виноватые». Русский драматический театр им. Маяковского. Сталинабад (Душанбе). 1938 год

состоялась лишь одна мимолетная встреча. Дело в том, что пришел он туда уже будучи большим артистом, и мы, молоденькие артистки, сразу побежали на него смотреть. А он на нас ноль внимания. Слышим только, что у него уже с кем-то завязался роман: вроде кого-то он уже провожал и подарил цветочек.



Но вдруг однажды на служебном входе я беру свое пальто – входит Менглет.

– Ваша фамилия Архипова? – спрашивает он.

Я думаю, надо же, фамилию знает!

– Да, – неуверенно отвечаю я.

– Кто-нибудь есть в семье, кто имел бы отношение к футболу?

– Есть.

– Кто?

– Дядя.

Тот самый дядя Шура, который поселился со своей женой в моей квартире.

– Кто он?

– Он судья.

– Ах, судья. А играть – не играет?

– Этого я не знаю.

– Ну ладно.

И ушел, словно меня нет.

До нашего с ним романа было еще далеко.

Георгий Менглет появился в Театре Вахтангова, вернувшись из Таджикистана. Дело в том, что в 1936 году в Москве была закрыта студия Алексея Дикого, а самого режиссера перевели в Ленинградский БДТ. Правда, в 1937 году Дикого арестовали, и Менглет решил создать новый театр – из студийцев-дикихцев. Театр, по его замыслу, негласно должен был стать «театром Дикого», а гласно – русским драматическим театром в какой-нибудь отдаленной от Москвы республике, где постоянно действующего русского театра еще не было. Выбор пал на Сталинабад

(Душанбе). В 1937 году Менглет покинул БДТ и с группой единомышленников отправился в Таджикистан, где и работал в Русском государственном драматическом театре имени Маяковского до 1942 года. Затем он стал худруком Первого фронтового театра Таджикской ССР, который, исколесив множество фронтовых дорог, закончил свой путь в 1944 году в Румынии. – Мы сыграли около 200 концертов. В день у нас бывало по 11 выступлений, – вспоминал Менглет (см. «Московская правда» 8 окт. 1997). – Однажды во время

концерта в летной части я встретил своего младшего брата Евгения, от которого не было долгое время вестей. Встреча была такой трогательной, что командир эскадрильи Руденко разрешил провести с братом три дня... В декабре 1944 года нас пригласили в Москву на смотр фронтовых театров, где наша программа была удостоена почетного диплома. Возглавлял жюри этого смотра Рубен Симонов, который пригласил меня в труппу Театра Вахтангова. Мне сразу дали роль Карандышева в «Бесприданнице».



«Мы, молодые вахтанговцы, часто обращались за помощью к Юрию Любимову: за ним и сила, и свобода, и напор»



ПОСЛЕ ПОБЕДЫ



«Влез в гримерку по водосточной трубе»

Кончилась война... Первый спокойный, хотя и голодный год. Свой отпуск мы, молодежь Театра Вахтангова, проводили в Сочи. Наши ребята – Володя Этуш, Володя Шлезингер, Лариса Пашкова, Юра Любимов были молоды, спортивны и полны замыслов. Казалось, что и вся последующая жизнь будет такой же солнечной, как это июльское небо, и такой же шумной, как прибой...

Во всяком случае, у Юры Любимова все так и сложилось. Он всегда был яркой личностью, о чем мне и хочется рассказать в этой главе, ведь Театр Вахтангова тех лет без него немыслим.

Я помню строгие заседания, когда бесконечно разбирались важные идеологические вопросы. И даже первые артисты труппы – Цецилия Мансурова или, например, Елизавета Алексеева, заметно волнуясь, выступали на собраниях. И вдруг вскакивал Юрка и тоже высказывался. Причем так смело, конструктивно и дельно, что на лице у старших вахтанговцев читалось удивление. Некоторые переглядывались: какой решительный молодой человек! И мы всегда знали, что если нужно разобрать какой-то «молодежный» вопрос, то надо обратиться к Любимову:

– Юра, может быть, ты?

Надежда была только на него. За ним и сила, и свобода, и напор.



Когда его назначили на роль Бенедикта в спектакле «Много шума из ничего» (а до него эту роль блестяще играл Рубен Симонов), многие удивились такому назначению. И вдруг оказалось, что Любимов не только смелый трибун, но и многогранный артист, ведь его Бенедикт не очень-то уступал симоновскому, а в чем-то был даже лучше, ярче, интереснее.

Однажды у нас были гастроли в Одессе – на сцене знаменитого оперного театра. Юра в спектаклях не был занят, но так совпало, что в те же дни под Одессой снимался в кино. Шел спектакль, я сидела в гримерке, ждала своего выхода, и вдруг слышу непонятный шорох за окном, словно кто-то ползет то ли по карнизу, то ли по водосточной трубе. Открываю штору и вскрикиваю от испуга.

Оказывается, это Юра залез на третий этаж. А дело в том, что он был влюблен в мою подругу Елену Измайлову, и не хотел, чтобы об этом знали другие. Но тут в коридоре раздался шум – участницы спектакля возвращались в свои гримерки. Я растерялась, но Юра быстро шмыгнул за большое напольное зеркало и простоял там какое-то время, пока артистки не разошлись. Среди них не было его пассии, и, едва гримерка опустела, он вскочил на подоконник, вцепился в водосточную трубу и пополз вниз.

Вскоре с Еленой Измайловой они поженились. Но сделали это тайно и без шумихи: расписались в загсе, а потом отметили это событие у меня в гостях.

Их брак, как известно, продержался недолго. Но вообще к Юре всегда тянулись прелестные женщины. Однажды (это еще до его женитьбы на Измайловой), мы целой компанией шли по улице. И рядом с Любимовым была девушка, которая стала его задевать:

– Вот ты никогда мне цветы не даришь.

– Я не дарю?!

– Да, да, всем девушкам молодые люди дарят цветы, а я от тебя ничего не получила.

В ту же секунду он вскочил на клумбу. Мы при этом закричали:



– Юрка, ты с ума сошел, сейчас милиция тебя схватит.

Но была бесшабашная молодость. Он собрал целый букет, вернулся и протянул девушке.

Он всегда держался естественно – и когда выходил на сцену, и когда играл в кино, и когда общался с друзьями. Причем мне всегда казалось, что Юре тесно в существующих рамках, его душа требует высокого полета (хотя Театр Вахтангова в ту пору был, несомненно, лучшим в Москве – куда уж выше?). Юрию стало мало только актерской работы – он начал преподавать. И со своим актерским курсом поставил тот самый спектакль «Добрый человек из Сезуана», который почти полвека являлся визитной карточкой Театра на Таганке.

«Тогда я ухожу из театра»

Летом 1951 года наш театр отправлялся на длительные гастроли. А в это время Борис Барнет, муж моей подруги Аллы Казанской, предложил мне сыграть в картине «Щедрое лето». Причем мою пробу на роль Веры Горошко утвердили достаточно быстро, и я решила просить директора, чтобы он освободил меня от гастролей, ведь я мало в чем была занята и легко было заменить.

Однако директор сказал, что материальное положение театра тяжелое и требуется, чтобы все актеры были на месте. Я возразила:

– Но тем не менее вы отпустили Андрея Абрикосова.

– Ну, нашли с кем сравнивать!

Я обиделась:

– Нет, отпустите.

– Не отпущу.

– Тогда я ухожу из театра.



– Ну что же, пишите заявление.

Я написала и вышла оттуда с ощущением абсолютной своей правоты.

Но тут на меня все набросились:

– Нина, ты сумасшедшая. Как ты могла! Иди сейчас же к Рубену Николаевичу – извиняйся, проси, чтобы оставили в театре.

Я ответила:

– Не пойду.

И тем же вечером, не сказав никому ни слова, села в поезд и уехала на съемочную площадку в Киев.

Никакого сожаления не было, ведь я сразу поняла, что попала в руки очень талантливого режиссера, которого знают во всем мире благодаря его картине «Окраина». Он и о предстоящей работе много говорил, но было заметно, что от сценария он не в восторге – ему навязали этот «сюжет», поэтому в процессе работы многое придется улучшать.

Режиссер в ярости рвал сценарий, переписывал целые сцены, пытался хоть как-то вдохнуть в картину жизнь. Видя мои попытки актерствовать, тихо говорил мне:

– Нина, тебе это не идет.

По сценарию первой парой были Оксана, Герой Социалистического Труда, и Назар, председатель колхоза. Моей Вере Горошко, преобразующей колхозную ферму, и передовому бухгалтеру Петру Серее, которого играл Михаил Кузнецов, предназначено было оттенять их сложные производственные и личные отношения. Но Барнет сместил акценты, и мы с Мишей стали главными в фильме. Это была типичная культовая картина о сказочном расцвете сельского хозяйства.

Сценарий был, конечно, наивным, но Барнет превратил его в музыкальную комедию. Афиши были развешены по всем городам: я приезжала на премьеру в Ленинград и замечала, что на улицах меня стали узнавать.



Нина Архитова в фильме «Щедрое лето».
Режиссер Борис Барнет



В один из приездов на пробу в другой фильм моя приятельница Валентина Козинцева (жена кинорежиссера Козинцева) сказала мне:

– Нина, ты приехала такая нарядная, а ведь ты должна несчастную женщину сыграть, у которой фашисты отбирают ребенка, а тебя отталкивают.

Фильм был нацелен на то, чтобы показать ужасы фашизма. Я должна была произносить разоблачающий монолог, а в конце сыграть встречу с сыном, который все эти годы был во французском сопротивлении. Картину снимал Хейфиц.

Я пришла на пробу. И оказалось, что Иосиф Ефимович не ожидал увидеть молодую артистку. Он даже растерялся, когда мы начали



репетировать, но худсовету моя работа понравилась – я вернулась в Москву с новым киносценарием, но вскоре получила письмо о том, что работа пока откладывается на неопределенный срок. Дело в том, что на всех киностудиях сократили производство двадцати картин – видимо, сказалось материальное положение страны. К сожалению, эти съемки так и не состоялись...

Но зато был другой успех. После выхода «Щедрого лета» на экран меня включили в состав делегации, которая от Советского Союза ехала в Индию на Первый международный кинофестиваль.

Незадолго до поездки я заболела, и ко мне в больницу приходил человек, чтобы записать биографию для личного дела. А потом меня вызвали в ЦК партии – положили готовое дело на стол и сказали:

– Вы написали, что развелись с мужем, но не сказали о судьбе его братьев...

Я говорю:

– Так ведь один брат Голубенцева погиб под Ленинградом еще в годы войны...

– А второй?

Второй был арестован, но я не сообщила об этом, поскольку сочла эту информацию излишней. Да и акцентировать внимание на аресте не хотелось, поэтому сказала:

– Где второй – не знаю.

Они ответили:

– Позвоните Голубенцеву.

Пришлось звонить, не выходя из кабинета:

– Шура, ты знаешь, что я пишу биографию. Нужно указать, где твой брат, что с ним.

При этом я зажимаю трубку, поскольку на том конце провода Голубенцев говорит:

– Ты ведь прекрасно знаешь, где он. Мы отправляли для него посылки.



А мы действительно направляли ему в лагерь посылки с медом и жиром. Он болел там и умер.

Я говорю начальству:

– Брат умер.

– Спросите, где умер.

– В Магадане...

И на моей чистой анкете пишут: «Дмитрий Александрович Голубенцев – погиб в ссылке в Магадане», – а на папке выводят красными чернилами – Магадан. И я ухожу, понимая, что теперь вряд ли куда поеду.

Но все же вскоре раздался звонок – меня выпускают из страны.

В делегации от Советского Союза ехали пять артистов. И каждый представлял фильм, в котором снимался. Я – «Щедрое лето», Вера Марецкая – «Член правительства», Павел Кадочников – «Повесть о настоящем человеке», Александр Борисов – «Мусоргский», Борис Чирков – «Глинка».

Перед поездкой собрали нас на Лубянке и сказали, что советские актеры должны быть одеты во все богатое. Только драгоценности и бархат.

И вот когда мы приехали в Индию и на торжественный прием нацепили наши вечерние наряды, оказалось, что в них ужасно жарко, а кругом все раздеты – в легких национальных костюмах. У Марецкой к волосам был приколот шиньон. Но она его сняла и танцевала с ним в руках. Какой-то иностранец у нее спросил:

– Вам, наверное, жарко?

Вера Петровна ответила:

– Ну что вы, мы так привыкли к морозу, что любая жара для нас – счастье.

В общем, выкручивались, как могли.

Фестиваль начался в январе, а 6 февраля умер король Георг VI, отец королевы Елизаветы. И кинофестиваль приостановился на месяц – объявили траур. У нас появилось много свободного времени,



а поскольку официальные встречи продолжались, то мы вместе с нашими кинодокументалистами, которые снимали нас на камеру-вумен, решили поискать себе открытые, легкие туалеты. Но мне ничего не подходило по размеру.

А вскоре я простудилась и с температурой осталась в гостиничном номере. Наша делегация пришла меня навестить, и вдруг – стук в дверь. Мне на подносе передают какое-то письмо. Врач немного знал язык и тихо перевел, что в соседнем магазине готовы перекроить платье, которое я мерила, но оно не подошло мне по размеру. Я смяла письмо, Марецкая из другого угла номера спросила:

– Что за письмо?

Я пошутила:

– А это местный миллионер пишет мне: «Что же это вы все в бархате приехали – давайте я подарю вам легкий туалет».

Все посмеялись. И даже гостивший у нас журналист-международник Миша Сагателян тоже. Был с нами и весьма непривлекательный человек, якобы «исследователь» Индии. Еще в самолете я полезла к нему с расспросами, но поняла, что он не интересуется страной и ничего о ней не знает.

А на следующий день все отправились в плавание на лодках, но врач мне не разрешил, и «индоведа» остался со мной.

Я говорю:

– А вы-то почему не поехали?

Он ответил, что не переносит качки и предпочитает пешие прогулки.

И при этом все время говорит:

– Как мне с вами приятно – вы расположены к дружбе.

А про себя я думаю: наверное, влюбился. Потому что куда бы я ни шла, он всюду оказывался рядом.

Но вдруг он продолжает:

– Правда, в отношении со мной вы не до конца искренни.

– В чем дело?



В 1951 году на кинофестивале в Индии советские артисты были самыми желанными гостями. Во втором ряду Вера Марецкая (слева), в первом ряду Нина Архипова (в центре)



– А вы не рассказали мне, что за миллионер прислал вам платье. Эту историю я услышал от Миши Сагателяна.

Я тут же зверею, бросаю его и несусь как угорелая в номер, где лежит письмо. Разворачиваю и говорю:

– Вот письмо – читайте. Но я вас видеть больше не хочу, вы предатель, – начинаю его оскорблять последними словами.

И с этого дня мы не общались. Только здарсьте, до свидания и все. Разве что в день, когда мы возвращались в Советский Союз (15 марта), он снова стал со мной чрезвычайно любезен. Я думаю: неспроста.



И действительно, на таможне накинул мне на плечи боа из чернобурки, потому что мужчина не имел права перевозить женское:

– Ниночка, везу подарок жене, но меня с ним остановят – проведите, как будто это ваше.

Я говорю:

– Пожалуйста.

Долгое время думала, что он все правильно понял и, наверное, в какой-то мере жалеет о своем поступке.

Но прошло пятнадцать лет. Я уже работала в Театре сатиры, в моей жизни появился Менглет, мы собирались на гастроли в Париж, где мне предстояло сыграть Фосфорическую женщину в «Бане» и Зою Березкину в «Клопе». Меня, как и полагалось, вызвали на беседу, поздравили, сказали какие-то комплименты, но при этом спросили:

– Когда вы были в Индии?

– На фестивале в 1952 году.

– Что у вас там произошло?

Я напряглась:

– Не помню.

– Может, неприятности какие-то?

И он открывает папку и читает мне вымышленную историю про платье и миллионера.

– Итак, вам предлагал миллионер платье?

Я зверею опять и говорю:

– Прежде чем давать какие-либо объяснения, прошу принять мое заявление об отказе от гастролей и порвать все мои личные данные.

Он немного опешил. Я продолжаю:

– А теперь я вам расскажу. У вас сволочи работают.

И рассказала все подробно, как было на самом деле. И как из невинной шутки «индовед» сочинил на меня пасквиль. Но времена были уже другие: мне, видимо, поверили, так что не стали вдаваться в детали и отпустили на гастроли.



Но вернусь к кинофестивалю в Индии. Успех наших фильмов продолжался – это отмечала пресса, нас всюду встречали радостно. А моя удача строилась еще и на том, что в кадре меня окружают коровы, которые в Индии считаются священными животными.

Пока продолжался траур по Георгу VI, мы стали знакомиться с индийскими артистами – бывали в их домах и таким образом объездили всю страну с севера на юг. Например, плыли мы вдоль джунглей, и наши проводники запрещали нам разговаривать, чтобы не спугнуть животных, которые выходили к берегу пить воду. Впрочем, сегодня этими рассказами никого уже не удивишь – все путешествуют. А еще я была в доме, где у индийца было множество детей. И меня он тоже стал считать членом своей семьи, называл русской дочкой. Мне это нравилось.

Я вообще в чужой стране чувствовала себя довольно комфортно, и однажды во время кинопоказа сидела с индианкой и общалась на ломаном английском. Вдруг меня бьет по плечу Боря Чирков:

– Вы мешаете мне фильм смотреть. И вообще на каком языке вы трепитесь?

А я справлялась без всякого переводчика.



Нина Архипова – член советской делегации в Индии

